

АЛЕКСАНДР ИВАНИЦКИЙ



ЛОМАННЫЕ УШИ

КНИГА ВОСПОМИНАНИЙ

Таких не знаем

Раннее июльское утро. Пологий спуск к Оке порос сосняком, пронизанным лучами солнца. В лесу дышится легко, и, пробежавшись не в тягость, я начинаю делать зарядку. Поблизости от меня тем же самым увлечённо занимается парень. Он отжимается, приседает в разножке, крутит бедрами. Все его упражнения с явно борцовским уклоном. На сходящихся курсах мы пересекаемся. Так и есть — у него ломаные уши.

— Борец? — показывая на мои “пельмени”, интересуется “коллега” и, не дождавшись ответа, гордо заявляет: — Между прочим, я — мастер спорта!

Решаю сбить с него спесь:

— Ну, а я Иванецкий. Слышал о таком?

На мгновение он задумывается, а затем роняет:

— Не-а! Таких не знаем!

На том и расходимся восвояси...

Во время вояжа в Нагано на зимние Олимпийские игры я заглянул в гости к молодой супружеской паре спецкоров российского телевидения,

ИВАНИЦКИЙ Александр Владимирович родился в 1937 году в селе Яровая Донецкой области. Пережил блокаду Ленинграда. После войны стал заниматься вольной борьбой. Двукратный чемпион СССР. Четырёхкратный чемпион мира. Чемпион Олимпийских игр 1964 года в Токио. По завершении спортивной карьеры работал спортивным журналистом. Затем в ЦК ВЛКСМ был ответственным за проведение юношеских соревнований “Кожаный мяч” и “Золотая шайба”. С 1973 года возглавлял главную редакцию спортивных программ Гостелерадио СССР. С 1991 года — спортивную редакцию “Арена” на канале РТР. Преподавал на факультете журналистики МГУ. Живёт в Москве.

работавших в Токио. За ужином завязался разговор, и хозяин, вставив кассету в видеок, попросил меня разъяснить некоторые реалии. На экране монитора замелькали черно-белые кадры довоенной кинохроники: галечный пляж, загорелые мужики в сатиновых трусах по колено с разбегу ныряют в набегающие волны. На заднем плане пальмы, фасад санаторного здания с помпезной анфиладой колонн. Объясняю, что скорее всего, киноплёнка запечатлела шахтеров, отдохавших в Сочи.

— Рабочие... в курортный сезон, на Черном море?!

— А что тут странного? — парирую я. — Скорее всего, засняты не простые углекопы, а орденоносные стахановцы. Ну, а тех, кого обошли наградами, по профсоюзным путевкам направляли оздоравливаться в профилактории, дома отдыха. Детей летом ссылали в пионерские лагеря, студенты ехали в студенческие, интеллигенция, или по-иному, служащие, всему предпочитали турпоходы, сплавы на байдарках или покоряли горные вершины. А вот я лично отдыхал дикарем. Койку на море снимал за рубль. Билет на самолет в оба конца стоил тридцатку. На еду за глаза хватало трешки в день.

Молодая пара с недоумением таранилась на меня, словно я поведал им на ночь рождественскую сказку...

С подобным пониманием прошлого мне приходилось сталкиваться частенько. Так что все выходило, как предсказывал И. А. Бунин: “Наши дети, внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то (то есть вчера) жили, которую мы не ценили, не понимали...”

Отсюда истоки моего желания рассказать не только о спорте, а о недавнем прошлом, его вроде бы малозначимых бытовых деталях, о судьбах обычных и легендарных личностей той поры: почти забытом российском пророке Иване Солоневиче, считай что супротивнике Ивана Поддубного; писателе Всеволоде Иванове, сфоткавшем в своем произведении “Факир на час” цирковую борьбу; Николае Васильевиче Гоголе, запечатлевшем в своем “Вие” мое родовое гнездо; об укротителе американских суперменов штангисте Юрии Власове и его антипode Леониде Жаботинском; о боксере-полiglоте Владимире Попенченко; о знаменитых борцах: Александре Медведе, Борисе Гуревиче, чье изваяние в бронзе установлено в Нью-Йорке перед зданием ООН, Гураме Сагарадзе, Савкудзе Дзарасове, Анатолии Парфенове, турецком пехлеване Хамиде Каплане, иранце Гуляме Реза Тахти, болгарине Лютви Ахмедове; о мафиозном американском арбитре Стиве Иванове, о наших тренерах-батянях, о хоккейном гурe Анатолии Тарасове, о поэте, драматурге, эссеисте Владимире Казакове и его вельможном кореше, зяте Генсека, Юрии Чурбанове, о колоритной мафиозной фигуре Отари Квантришвили, о моем друге Владимире Горбатенко, о писателе-деревенщике Викторе Астафьеве, Владимире Высоцком, кинорежиссере Ларисе Шепитько, о личной встрече с Владимиром Владимировичем Путиным, обернувшейся пятнадцатилетним простоем, и о многих других персонажах... Я попытался показать их в обыденных ситуациях, не приукрашенных, со своими достоинствами и слабостями. Кто-то может не согласиться с моей оценкой. Но я их воспринимал именно таковыми...

Мои воспоминания адресованы всем, в том числе и людям, никак не связанным со спортом или знакомым с ним понаслышке. Надеюсь, что особенно им будет любопытно заглянуть за спортивные кулисы. Прошлое приходилось пропускать через себя потому, что мне самому захотелось понять, благодаря чему блокадный заморыш сумел пробиться в элиту большого спорта. Быть может, от того меня и многовато в книге. Извините сей то ли малый, то ли огромный грех. Пытался было поступать иначе — увы! не получилось...

Чуден Днепр при тихой погоде...

Раньше мне казалось, что борцы-удальцы появляются на свет Божий эдакими богатырями с квадратными челюстями, словно у Шварценеггера, и, подобно Гераклу, они играючи справляются со змеюками, заползшими к ним в колыбель.

Но они, как и все смертные, рождаются недотыками. И лишь годы спустя, став асами своего дела, охолонув от турниров, превращаются в людей

самых разных профессий: кандидатов всяческих наук, журналистов, врачей, политиканов-думцев, а иные затесываются и в мафиозные упыри. Всяко бывает... Не пожалеть бы и Нобелевской премии тому, кто откроет место и время возникновения точек-узелочков этих удивительных перевоплощений!

“Волга” зеленого цвета, чтобы не раздражала своей механической сутью и сливалась с природой, летит-мчит по Минскому шоссе. Напахавшись за день в Останкино, я тороплюсь домой в Кунцево. Июльское солнце, клонясь к закату, лепит прямо в глаза. В который раз сетую на себя, что из-за своего разгильдяйства так и не удосужился приобрести темные очки. На автомате включаю радио. Всенародно любимый артист читает что-то до боли знакомое. Ерзаю на сиденье от досады, что не могу припомнить название произведения:

“С северной стороны все заслоняла крутая гора и подошвою своею оканчивалась у самого двора. При взгляде на нее снизу она казалась еще круче, и на высокой верхушке ее торчали кое-где неправильные стебли тощего бурьяна и чернели на светлом небе... Она была вся изрыта дождевыми промоинами и проточинами. На крутом косогоре ее в двух местах торчали две хаты; над одною из них раскидывала ветви широкая яблоня, подпертая у корня небольшими кольями с насыпью землей... С вершины вилась по всей горе дорога и, опустившись, шла мимо двора в селенье... Философ стоял на вышем в дворе месте, и когда оборотился и глянул в противоположную сторону, ему представился совершенно другой вид. Селение вместе с отлогостью скатывалось на равнину. Необразимые дуга открывались на далекое пространство; яркая зелень их темнела по мере отдаления, и целые ряды селений синели вдали, хотя расстояние их было более нежели на двадцать верст. С правой стороны этих дугов тянулись горы, и чуть заметно вдали полюсою горел и темнел Днепр”. Так ведь это же гоголевский “Вий” — повесть, в которой описаны жуткие приключения бурсака Хома. “Философа” оседлала старуха-ведьма, к которой он напросился на ночевку. Ему удалось ее скинуть, и он понесся на ней, подгоняя каргу поленом, да так старательно, что колдунья околедела. Хома ужаснулся, увидев, что укокошил не беззубую каргу, а наикрасивейшую панночку...

Спохватываюсь, пугаясь наваждения, навалившегося на меня; солнце размылось, и передо мною вырисовалась узкая, сырая колея, знакомая еще с детства. Ощущение реальности происходящего со мною было запредельным. Пришлось тормознуть на обочине. Никогда ни до, ни после со мною не происходило ничего подобного. Меня как бы перенесли в Прохоровку — родное село отца, вольготно раскинувшееся на левобережье Днепра почти напротив Тарасовой могилы, примерно километрах в семидесяти, вниз по течению, от Киева.

Хата родителей отца прилепилась у подножья Михайловой горы. На ее пологой вершине до наших дней чудом уцелела усадьба известного в прошлом писателя, историка, ботаника, первого ректора Киевского университета М. А. Максимовича...

В письме к Вяземскому в 1833 году Максимович сообщал, что собирается сопоставить “поэтическое однородство плача Ярославны с... украинскими старыми песнями и очень хотел бы знать суждение Пушкина по этому поводу... которому просит покорнейше передать свой усердный поклон”. Под гостеприимным кровом этой усадьбы кто только не побывал! Находили здесь приют и Гоголь, и Шевченко. В ректорском парке до сих пор высится огромный дуб. Краеведы уверяют, что ему не менее шестисот лет. Кора патриарха в извилистых трещинах не то морщин, не то шрамов, оставленных столетиями. Его корявые ветви-лапищи опираются на костыли-подпорки, а неохватный ствол защищен хлипкой оградой от лиходейных наскоков шальных экскурсантов...

Домчав до дома, отыскиваю в книжном шкафу “Вия”: “Между тем распространились везде слухи, что дочь одного из богатейших сотников, которого хутор находился в пятидесяти верстах от Киева, возвратилась в один день с прогулки вся избитая, едва имевшая силы добреть до отцовского дома, находится при смерти и перед смертным часом изъявила желание, чтобы отходную по ней и молитвы в продолжение трех дней после смерти читал один

из киевских семинаристов: Хома Брут. Об этом философ узнал от самого ректора...”

Все те, кто когда-либо зачитывался, по утверждению Николая Васильевича, народным преданием, которое автор не хотел ни в чем изменить и передал его нам “почти в такой же простоте, как слышал”, наверняка помнят, что бурсак, доставленный на хутор под суровым приглядом казаков пана сотника, в предчувствии напастей задумал было дать деру:

“Философ стоял на высшем в дворе месте, и когда оборотился и глянул в противоположную сторону, ему представился совершенно другой вид. Селение вместе с отлогостью скатывалось на равнину. Необозримые луга открывались на далеком просторстве; яркая зелень их темнела по мере отдаления, и целые ряды селений синели вдаль, хотя расстояние их было более нежели на двадцать верст. С правой стороны этих лугов тянулись горы, и чуть заметно вдаль полосой горел и темнел Днепр.

— Эх, славное место! — сказал философ. — Вот тут бы жить, ловить рыбу в Днепре и в прудах, охотиться с тенетами или с ружьем за стрепетами и крольшинепами! Впрочем, я думаю, и дроф немало в этих лугах. Фруктов же можно посушить и продать в город множество или, еще лучше, выкурить из них водку; потому что водка из фруктов ни с каким пенником не сравнится. Да не мешает подумать и о том, как бы улизнуть отсюда”.

На уровне шестого чувства я ощутил, что автор “Вия” именно такой, с усадебной кручи, с высоты птичьего полета, и увидел мою Прохоривку и передал потомкам ее голографический оттиск. Это место в парке отмечено вековой сосной, которая так и зовется сосной Гоголя.

Не помню точно, где и когда я наткнулся на упоминание, что он услышал предание о “Вие” от некоего сельского батюшки. Не от моего ли прадеда — местного священника? Если так, то, памятуя о набожности Гоголя, с уверенностью могу сказать, что они никак не могли разминуться друг с другом, когда писатель наезжал в гости к Максимовичу. И не он ли, после благостного пасхального разговения, поведал Николаю Васильевичу байку о нечисти с веками, свисающими аж до сырой земли, схожей видом с усадебным, обросшим лишаями, корявым дубом. Вот бы покопаться в семейных преданиях! Но, увы! От своих пращуров мне в наследство досталась лишь парсуна старинного письма, которой благословили на венчание моего деда...

Догадки, предположения, но однажды со мною случилось нечто необъяснимое. Как-то я достал из книжного шкафа томик Гоголя — непонятно зачем — и, раскрыв его наугад, оторопел, читая “Повесть о том, как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем”: “А протопоп отец Петр, что живет в Колиберде, когда соберется у него человек пяток гостей, всегда говорит, что он никого не знает, кто бы так исполнял долг христианский и умел жить, как Иван Иванович”.

Совпадение чуть ли не мистическое. Отчество моего деда Петрович, а его батюшку, т. е. моего прадеда, звали Петр Петрович! Какие-то смутные семейные предания о том, что он начинал свое служение в Колиберде, примыкавшей к Прохоривке, у нас в семье бытовали. Значит, моя догадка может быть верна. Он точно знался с писателем, а раз так, не он ли тот самый сельский батюшка, который поведал Гоголю о “Вие”? Как бы мне хотелось, чтобы моя догадка обернулась правдой!

У прадеда было двенадцать душ детей и все закончили гимназии. А моего деда, поскребыша, отдали в Полтавскую семинарию, но он заартачился и настоял на переводе в реальное училище, где и приобрел профессию красnodеревщика, а по деревенскому разумению — плотника. Соседи судачили, что в поповской семье его частенько шпыняли, росточком вышел метр с кепкой, не в пример своим видным братьям, да и характер занозистый. На него махнули рукой, мол, за такого шибздика ни одна “гарна дивчина не выйдэ”. Он взвился, заявив, что поведет к венцу первую встреченную им на шляху девоньку. И подвернулась ему наймичка с низов, и пришлось ему венчаться с пришлой батрачкой, и нарожали они шестерых деток, да таких ладных, что любо-дорого было на них смотреть. Знать, природа, отдохнув на “поскребыше”, все-таки решила не давать более сбоев. Потому, наверное,

она и наделила моего отца внушительным ростом, склонностью к философским рассуждениям, баритональным тембром голоса и отменным слухом. Игру на бандуре и мандолине он освоил сам.

“Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои. Ни зашелхнет, ни прогремит. Глядишь, и не знаешь, идет или не идет его величавая ширина, и чудится, будто весь вылит он из стекла, и будто голубая зеркальная дорога, без меры в ширину, без конца в длину, реет и вьется по зеленому миру... Редкая птица долетит до середины Днепра”. Откуда он черпал свое вдохновение? “Из дыма, — отвечал в таких случаях Гоголь. — Пишу и сжигаю, пишу и сжигаю и снова пишу!” Спрашивается, кто из нас, отдавая должное лиризму этих строк, не усмехнулся полету авторского воображения. Но в них нет ни капли художественного вымысла. Днепр в половодье подступал у нас к самой круче, подтапливал огороды, подмывал хаты, грозя унести их в понизовье, и ширился, растекался до горизонта. Лишь огольцы радовались напору вешних вод. Так и егозили, так и егозили непоседы. Они, конечно же, как и взрослые, с опаской взирали на паводок и тоже ждали, когда он, окаянный, спадет. Но у них имелся свой резон. Им бы поскорей наудиться в яминах, бочагах и ложбинах, которые кишели самой разной рыбехой после спада большой воды. Ребятам тогда и особых снастей “не треба” — лови хоть портками, хоть плетеными корзинами-верями, хоть голыми руками...

Мой отец окончил школу, когда на Украине свирепствовал голодомор. Село обезлюдело на треть. Где-то на Брянщине сгинул мой дед Силиверст Петрович. Глава семьи столярничал, чинил всякую мебелишку, вставлял стекла, словом, славился в округе своим мастерством. Но голод погнал и его на заработки “в чужо сторонюньку”. Там он и сгинул. Когда в семье узнали о постигшем их горе, в хате на семь ртов осталась торба муки, четверть чувала кукурузного зерна да макитра лущеной фасоли. Поляница из смеси жемудевой и кукурузной муки получалась прегорькой. Спасаясь от бескормицы, старшие братья подались на Донбасс. А Владимир, мой отец, наперекор слезным увещаниям матери отправился к синему морю, в город, где у него не было ни кола, ни двора, ни знакомых. Втемяшил дурный хлончик себе в голову, что выбьется в музыканты, и хоть кол ему на голове теши!

Перед приемной комиссией в Одесском музыкальном училище он предстал в дмотканых холщовых портках, крашенных в коричневый цвет отваром из луковой шелухи, и в вышиванке. Комиссия сразу же уяснила себе, что абитуриент не владеет даже азами нотной грамоты. На том, вероятнее всего, и закончился бы экзамен. Но, видимо, профессоров разобрало любопытство. Они решили выяснить: имеют ли дело с наглецом или? Владимира попросили сыграть на бандуре, спеть, и вновь поиграть, но теперь уже на мандолине. Собрался консилиум. На нем поспорили и решили... сельского парубка зачислить на дирижерский факультет. Новоявленному студенту выдали продуктовую карточку и предоставили койку в общежитии. Конечно, в музучилище он оказался на положении белой вороны. Однажды он заметил, как его сокурсник, усевшись после него за рояль, достал из нагрудного кармашка вельветовой куртки чистый носовой платок и с брезгливой миной на лице протер им клавиши инструмента...

Все вышесказанное может показаться с нынешних позиций ЕГЭ, бюджетных и платных факультетов всевозможных вузов чем-то невообразимым. Но таким было то время.

Примерно тогда же, в 1933 году, из Тобольска в Москву пригласили девятилетнего мальчика. Специальная комиссия побеседовала с ним. Оказалось, что Коля — так звали ребенка — прекрасно разбирается в древней, средней и новой истории, читал Диккенса, Гомера, Тургенева, Гоголя, Толстого, Достоевского. Особенно нравились ему: “Записки охотника”, “Война и мир”, “Миргород”, “Вечера на хуторе близ Диканьки”, “Женитьба”, “Мертвые души”. Комиссия так и не смогла установить, чего же он не знает. Мальчика оставили в столице. Ему выделили трехкомнатную квартиру в доме, где жили такие всесоюзные знаменитости, как Ойстрах, Папанин, Чкалов, и назначили стипендию в размере 500 рублей. Тогда самые дорогие

лаковые туфли стоили неимоверно дорого — 50 рублей. Раз в десять дней мальчик приходил к Николаю Николаевичу Лузину, основателю московской математической школы. Преподаватели французского и английского языков сами посещали его на дому. Немецкий Коля Дмитриев выучил еще в Тобольске, а польским овладел сам — походя. Вскоре пионер стал студентом МГУ. После войны молодой ученый Н. Дмитриев создаст модуль рабочего процесса, происходящего в атомной бомбе.

Перед ним трепетали гении наисекретнейшего “Арзамаса-16”: Зельдович, Сахаров, Франк-Каменецкий. Они почти никогда не печатались, не ознакомив со своими исследованиями Н. Дмитриева. Кто-то получал звания, степени, высокие правительственные награды. А он почти всегда отказывался от всяких почестей, хотя без его научных выкладок у страны еще долго не было бы своего водородного оружия.

Отнюдь не сравнивая их интеллектуальные уровни, я лишь пытаюсь понять прошедшее — не прибегая к одномерности черной и белой красок. Кажется, в толще народа до поры до времени скрыты люди, способные на изломах истории на прорывные изобретения. Жаль, что не всем дается этот шанс. У моего отца, тогда студента второго курса, в толчее одесского Привоза украли продовольственную карточку. Ему пришлось расстаться с мечтой о музыкальном образовании. Братя звали его на Донбасс. В Красном Лимане он устроился работать тормозным кондуктором. Поездная бригада тогда состояла из пяти человек. Главный в ней — машинист паровоза, а тормозной кондуктор считался мелкой сошкой. От него требовалось что есть силы крутить штурвал винтового тормоза, придерживая вагоны на спусках, или подсыпая песочек под колеса на подъемах, чтобы не пробуксовывали. Профессия самая простецкая и особой смекалки не требовала. В нее отбирали жилистых и не слишком привередливых парней, потому как кондуктора мотались между Мариуполем и Харьковом — и еще Бог знает куда — и в день, и в ночь, и в дождь, и в стужу. На эту-то должность братья и пристроили своего музыканта — недоучку.

Казалось, судьба-злодейка, превратив мановением волшебной палочки начинающего дирижера в тормозные кондукторы, должна была утомиться. Но, словно чувствуя за собою вину, она неожиданно подкинула парубку фартовую должность счетовода в железнодорожном стройуправлении. Отец, памятный на цифры, обладал еще и почерком редкой витиватости. Во времена оные таким каллиграфическим стилем писались императорские указы. Пойди теперь узнай, откуда взялся такой дар у сельского парня! Благодаря своей смекалке он довольно скоро дорос до должности бухгалтера. Но на его беду из конторского сейфа пропали облигации госзайма. По тем лихим временам не просто кража, а хищение с политическим уклоном. Его назначили крайним. Так оказалось проще для всех: пришлый, а значит и заступаться за него никто не будет. Слушок, пущенный по конторе, пришелся кстати: мол — подкулачник. Поэтому 1936 год обернулся для отца арестом, тюрьмой, допросами. Прокурор Донецкой области, скорее ради проформы, а не соблюдения пролетарской законности, затребовал из Прохоровки сведения о социальном происхождении подсудимого. Сельсовет прислал характеристику, заверенную гербовой печатью: “Мы, нижеподписавшиеся: граждане с. “Прохоровка”, Гельмязовского района, Киевской области, дали настоящую характеристику про умершего гражданина с. “Прохоровка” Иваницкого Силверста Петровича, которого мы знаем, как одних с ним лет рождения в том, что он с малых лет учился столярному делу, и с этой квалификацией проживал до революции 1917 г.

После революции получив земельный надел от комитета, работал по хлебопашеству, а также занимался столярным делом до смерти. По селу считался бедняком. В части политических убеждений Иваницкий С. П. несколько раз выступал против Царизма с 1905 года. В 1917 г. был избран депутатом от граждан с. “Прохоровка” на Всесоюзный съезд Советов в г. Ленинграде, что своими подписями подтверждаем.

Гражд. села “Прохоровка”: Ф. Коновало, А. Лущик, Н. Лопата, Ф. Вокострий, В. Чуприна 1936 г., сентября, 12 дня с. Прохоровка”.

Справка решила судьбу отца. Его освободили. Ее копия сохранилась у меня чудом. В ее орфографии и пунктуации следы эпохи: слово “революция” написано с маленькой буквы, а “Царизм” с большой. О поповских корнях С. П. в ней ни слова. Получается, что своим рождением в 1937 году я косвенным образом обязан односельчанам отца. Будь они живы, поклонился бы им в ножки — до самой земли...

Когда уже во взрослом состоянии, после долгого перерыва, я оказался на родине отца, то еще были видны отметины зажиточного прошлого. Через село пролегал не грунтовка, а добротная дорога, мощенная булыжником. После мостков через пруд она дугой заворачивала к пристани. Легко представлялось, как до революций здесь у дебаркадера теснились подводы, груженные отборным зерном, как грузчики таскали на баржу чувалы с пшеницей. В центре села, напротив от сельпо, в бурьяне, то там, то сям, валялись порушенные блоки школьного фундамента. Но и предвоенное лихолетье не оставляло своих следов: заброшенные сады, едва заметные насыпи от выморочных хат, на краю села, похилиясь, доживал свой век, заброшенный ветряк. Он воспринимался мною памятником дождине своих прежних мукомольных собратьев. За млином виднелся сосновый бор. Его сажали всем миром, ограждая село от наступавших песчаных буераков. С годами лес поднялся завидный, грибной. Боровики, прячась под нижними ветвями сосен, росли на игольчатом подстиле словно в яслях. Но собирали их в основном дачники. Местным “тихая охота” не привилась. Тогда же мне показали и “попову” яму, в которой водились лопатистые карпы. Их пытались извести сетями. Но берега пруда сплошь заросли ивами да вязами. Их коряжистые корни, оплетая берег, круто обрывались в воду. И как ни ловчились рыбаки — они все равно цеплялись за них свои снасти. К тому же ямина пугала своею глубиною. Она и у самого берега была аховой — с ручками. Так что поповский пруд охотникам до легкой добычи, а тем более мелюзге, просто так в руки не давался. Вдобавок и сами зеркальные карпы отличались необыкновенной увертливостью. Они, словно в насмешку над рыбаками, угодив в мотню, ленивым кульбитом перекувыркивались через сходящиеся поплавки невода, оставляя незадачливых ловцов с кулишем. А “поповым” пруд нарекли из-за пристрастия к ужению моего прадеда. В летнюю пору он читал молитвы скороговоркой, из-за боязни опоздать на вечернюю зорьку. Прихожане прощали ему сей малый грех, так как и без него знали всю службу назубок, да и сами торопились управиться с хозяйством дотемна.

Прохоровка удивила меня еще и своей памятью на лица. В тогдашний свой приезд, сойдя с “Ракеты”, я чуть замешкался на дебаркадере, связывая багаж брючным ремнем, чтобы сподручнее было нести сумки, перебросив их через плечо. Пока возился с поклажей, оказалось, что пассажиры разом схлынули, и мне не удалось порасспросить их: не сдаст ли кто на селе комнатенку для постоя. А раз так, то я решил искупаться, поваляться на песочке, помлеть на солнцепеке, упиваясь досыта терпким запахом лозы, чтобы истаяли все мои городские заботы, страхи, немочь. Прохоровка не единожды ставила меня на ноги.

Стрижи, барражируя “нызенько-нызенько” над речной гладью, закладывали замысловатые виражи и пулей исчезали в насверленных в обрывистом берегу гнездах... Они, наверное, летали так же стремительно и в мальчишескую пору моего отца. В его время парубки принимали в свой круг лишь тех, кто трижды мог перекреститься двухпудовиком. Так испытывали на крепость безусую молодежь. А те, кто постарше, выставляясь перед ненаглядными отроковицами, перебрасывали гирию через стреху хаты, или подныривали под колесные пароходы! Лихая, без всяких там ГТО, росла тогда молодежь. После сенокоса или жатвы гимнастерки косарей, просоленные потом, становились белыми и, высохнув, сохраняли форму тела ее обладателя. Но, что поразительно, люди возвращались с поля с песнями.

...К пристани причалил бакенщик. Привязывая к свае лодчонку, он пристально посмотрел меня.

— Чи, ни Иваницких ли будэтэ? — помедлив, спросил бакенщик.

Вот тебе раз! Он, дотоле меня не видавший, с лету признал во мне односельчанина.

Вообще-то Прохоровка среди посвященных считалась “модным захолустьем”. Так ее прозвала питерская научно-техническая интеллигенция, открывшая ее для себя родимой. Какие там египетские Шарм-аль-Шейхи, когда тут тебе “все включено”: раздольные пляжи, мелководье, быстрины, струги островов с протоками и озерами, скрытые купажи деревьев. А где еще сыщешь невообразимую прелесть местных базаров, где все меряется цибарками, т. е. ведрами: вишни, сливы, дули, то бишь груши, яблоки, марельки — местный сорт абрикос и всякий другой фрукт. К тому же все это богатство продается по рублю или трешке, не то, что черноморская курортная обдираловка. Вот только мясной продукции тогда явно недоставало. Хотя кто же режет скот летом?! Мужики не раз зазывали меня в свой круг и выпрашивали:

— Як там в Америце живут, за сколько грошей хлеб купують?

Я отговорился незнанием, и они расходились уверенные, что “органы” запретили мне вещать о прелестях капитализма. Один дядька обернулся и рубанул с досадой:

— Да сдалась мини тая заграниця! Можэ я лучшее самого Хруща живу. Яйко свое, молоко парнэ, сметану ложка не бэре, кабанчик в закутке бигае, самогонка с буряка!

Мне тогда подумалось, эх загнул!

Останавливаться у бабушки Усти в тот приезд я не стал. В ее хатенке было не развернуться из-за печки и козы. Тем более что вот-вот из Киева должна была заявиться скульптор Клава Лыскова ваять мой “героический” облик. Пустила на постой Галабурдыха, жившая в противоположном конце села. За глаза ее звали Софи Лорен, так как и росту она была приподнятого, и имела в наличии все то, и даже чуть-чуть более того, что делало итальянскую кинодиву особо неотразимой. Сама она переселилась в клуню, предоставив хату в мое полное распоряжение. Все бы ничего, но удобства она соорудила у тына, огородив его жердочками с просветом, так что посетитель “заведения” был не то, что на виду у всех, но и сам мог, с близкого расстояния, наблюдать за всем происходящим на улице! Галабурдыха приторговывала салом. Она выкармливала порося устрицами. Брала ведро, шла на речиче и, нащупав ногой перламутровые раковины с ладонь величиною, набивала ими свою посудину. Этим деликатесом она и выкармливала свинок. Сало получилось доброе, но припахивало рыбой. Она продавала его в Каневе и торопилась унести ноги с базара, пока покупатель не распознали подвоха. Северные корейцы, приехавшие строить Каневскую ГЭС, попадали в обморок, прознав про такое варварское обхождение Галабурдыхи с устрицами. Баба Устя частенько навевывалась ко мне. Ей было далеко за восемьдесят, но на здоровье она не жаловалась и без передыха преодолевала расстояние, считай, от Сушкова и почти что до самой Колиберды. Заглянув к Галабурдыхе, она не отказывалась от стакашки самогона, румянилась и затягивала: “Посадыла огирочки в лузи над водою... эх! поливала огирочки дрибню слизою... эх!” Прощаясь, она с гонором втолковывала хозяйке:

— Иваницкие панамы были, панамы и остались!

Эта мысль почему-то тешила ее самолюбие. Может от того, что доля ей досталась не самая легкая. После тридцатых одна ставила детей на ноги. Всякого натерпелась и за войну. Когда немчура драпала, то огнеметчики наладились палить подворья. Один из таких было перелез через тын, чтобы полыхнуть огненной струей по ее хате, но она с такой яростью набросилась на него, что оторопевший фриц решил не связываться с сумасшедшей бабой. А тайный сбор колосков на колхозном поле? Она и нас приспособливали к этому подсудному делу. Стерня немилосердно колола нам, городским, подошвы, и лучше было мчать по ней бегом, чем ковылять на пятках.

В лихие девяностые я вспомнил о своем “панском” происхождении. Непонятно было, то ли мы еще остались “товарищами”, то ли заделались “господами”. Незнакомцев при встрече я частенько смущал, предлагая им величать меня “паном”, с любопытством наблюдая за их реакцией...

Знакомец Есенина Вольф Эрлих в своих воспоминаниях упомянул о его любопытной оценке Маяковского: “Знаешь, почему я — поэт, а Маяковский так себе — непонятная профессия? У меня родина есть! У меня — Рязань!

Я вышел оттуда и, какой ни на есть, а приду туда же! А у него — шиш! Вот он и бродит без дорог, и ткнуться ему некуда. Ты меня извини, но я постарше тебя. Хочешь добрый совет получить? Ищи родину! Найдешь — пан! Не найдешь — все псу под хвост пойдет!”

Щи из хряпы

Дед Михайло, мамин отец, устроился смазчиком в Краснолиманском депо. Вернувшись после смены домой, он извлекал из кармана брезентовой куртки мякиш хлеба и, обчистив от табачной махры, совал его мне в руки: — Я його у зайчика позычил!

Краюшка отдавала мазутом, но я с вожделением уплетал ее за обе щеки. Дедушка выстругал мне лыжи, приделал к ним веревочное крепление, и вот я лечу с пригорка, втыкаясь головой в сугроб. Снег забился за шиворот, залепил глаза. Извлеченный из снежного плена, реву что есть мочи, намертво вцепившись в лыжи.

Повзрослев, я узнал, что жизнь у деда была не сахар. В гражданскую его демобилизовали белые, но отпустили, выяснив, что он единственный кормилец в семье. При Советах ему пришлось “ховаться”: заметая следы, он часто менял места работы. То был председателем совета, то пел на клиросе в церкви, затем подался на шпалопропиточный завод, закончив курсы ветеринаров, записался в колхоз и чуть не погорел на этом. Три коровы, отбившись от стада, объелись клевером. Одну удалось спасти, другую прирезали на мясо, а третья, никуда не сгодившись, околела. Его продержали два месяца в каталажке и отпустили домой.

Правительство СССР 26 ноября 1939 года направило Финляндии ноту протеста по поводу артобстрела, совершенного с ее территории, после чего началась многими забытая советско-финская или, иначе, “зимняя” война. В преддверии ее вокруг Ленинграда для оперативной переброски войск сверхударными темпами возводят рокадную железную дорогу. Спецов собирают в город со всех концов страны. Так наша семья оказывается в Шушарах, под боком Ленинграда. Название поселка запомнилось, наверное, еще и потому, что в его “шур...шарах” мне мерещилась какая-то мышиная скребня.

Мама как-то вспомнила, что из себя представлял закуток, отгороженный для нас в пристанционной прачечной. Нашу “комнатушку” от цементных чанов и котлов с кипятком отделял фанерный простенок, который при каждой стирке пузырился от испарины. Стройуправление со временем переселило нас в барак недалеко от Московской-Сортировочной станции, в бывшую кипяильню. Она находилась на первом этаже строения, между кухней и туалетом. Соседство не самое приятное, но по сравнению с предыдущим жильем эта комната показала родителям даром свьше. Там нас и застала война.

Мы провожаем отца в военкомат. Родители наряжены во все чистое, на нас с братом ни разу дотоле не одеванные вельветовые костюмчики. По пути заходим в фотоателье. На сделанный тогда снимок до сих пор не могу смотреть отстраненно. На нем родители смотрят не в камеру, а куда-то в иное пространство. Их настроение передается и нам. В военкомате отец подал заявление, чтобы его направили на фронт добровольцем. В стройуправлении запаниковали. Оно лишалось главбуха, который тоже получил мобилизационное предписание, и его зама — т. е. нашего отца. Руководство выправляет бронь, но тянет в раздумьях, не зная, кем пожертвовать? Военком посоветовал им оставить в “тылу” добровольца...

Рядышком с железнодорожным мостом мы с братом Юркой углядели окоп с зенитным пулеметом, укрытый маскировочной сеткой. Его ребристый ствол поблескивает смазкой, а скрипучее сиденье будоражаще пахнет скипидаром. По улице, почти задевая стены зданий, плывет пузатый аэростат. Его удерживают за петли тетеньки-бойцы в защитных гимнастерках и в пилотках набекрень.

Лязгнув буферами, на подъездных путях замер возникший из ниоткуда бронепоезд. Сторожевое охранение пугает нас от состава, но мы успеваем

наглазеться на зачехленные глотки дальнобойных орудий, снятых с кораблей, потрогать заклепки башен, а старшие ребята даже умудрились заглянуть в щели бойниц. Матросский патруль, заходя в барак, громкогласно оповещает: “Начинаем артобстрел!!!” Мама бросается затыкать нам уши ватой, укрывает охапкой одеял и обкладывает головы подушками. От бухающих выстрелов главных калибров с потолка сыплется штукатурка, а двери сносит с петель. Отстрелявшись, бронепоезд откатывает со станции. В небе, нарыскивая его, кружат “мессеры”. За ними гоняются “ястребки”. Самолеты комариками каруселят в выси. Нам страсть как хочется угадать, которые из них наши! Мама, обыскавшись нас, с причитаниями уволокивает меня и Юрку от лихорадочно строчащего зенитного пулемета. Наверное, еще и поэтому возможность переехать в каменный дом на Обводном канале родители почли за благо.

Лютый мороз страшнее голода. Стужа порвала водопроводные трубы. Окно в комнате наглухо завешано одеялом для светомаскировки и сохранения тепла. Стекло в нем крест-накрест заклеено газетными полосками, чтобы взрывная волна не разнесла его вдребезги на острые осколки.

Буржуйку топим чем попало: книгами, паркетом, щепой — всем, что горит. Лифт намертво застрял меж этажей. Мама, как и все, ходит за водой на Неву. Обесточенные трамваи и троллейбусы погребены под снежными саванами на проезжей части улиц. Трехлитровый бидончик, а больше ей не поднять, надо еще исхитриться донести домой, не расплескав воду на тротуарах, сплошь покрытых ледяными наростами. На гигиенические процедуры, по семейному уговору, тратится кружка воды в месяц. Туалет от мороза “гепнулся”. Замерзшими нечистотами загажены черные ходы, лестничные пролеты, подвалы, дворовые закоулки...

На тумбочке чадит коптилка — сплюснутая в верхней части латунная гильза, из которой торчит обгорелый жгутик фитилька. Он завершается оранжевым лепестком, который, свиваясь в черную нить, вьется ввысь, распластываясь кляксой сажи на потолке. Мы с братом затеваем игру в театр теней. Он подносит к коптилке ладонь с торчащим большим пальцем, остальные сведены попарно, и “жамкает” ими подобно режущим концам ножниц. И тогда по стене мечется “гавкающая” морда страшенной собаки...

На надрывный вой сирен воздушной тревоги мало кто реагирует. Бомбоубежище не спасет от прямого попадания авиабомб, а мотаться с нами по лестничным пролетам маме становится все тяжелее. Женька Румянцев, мой лиговский приятель, описывая ту пору, вспоминает: “...В бомбоубежищах были целые поселения: кровати, кастрюли, керосинки и ...крысы — большие, бурые и наглые. Ежедневно в подворотнях домов “ночевали” на саночках запеленатые в простыни “перуны”. Не всем хватало сил довести своих покойников до кладбища. Обглоданные крысами трупы по утрам подбирали сандружинники”.

Хлеб выдавали иждивенцам-детям и тем, кто не занят на производстве, по 125 граммов в сутки. Его выпекали из мякины вперемешку со жмыхом и еще какими-то целлюлозными добавками. Он липнет к рукам. Мама режет его на малосенькие равные дольки. Мы с братом, слглатывая слюну, цепко следим за ее действиями. Поделив ломтик на пайки, она остро наточенным ножом соскребает с лезвия “хлебного” ножа серые стружечки. Это наша добавка...

На керосинке мама разогревает щи из хряпы — осклизлых, темно-зеленых капустных листьев, пронизанных жесткими волокнистыми прожилками. До войны их не собирали даже на корм скоту. За хряпой мама отправляется в пересменку между дежурствами. Она у нас стрелок воензированной пожарной охраны. У нее винтовка, тулуп, валенки, сумка с противогазом и щипцы с длинными ручками. Ими, словно клещами, надо захватывать “зажигалки” — бомбы, начиненные фосфором, и сбрасывать их во двор или гасить на чердаке в ящиках с песком. Дождавшись сумерек, мама с товарками отправляется за хряпой к Волковскому кладбищу, на заброшенные огороды. Там, ползая по-пластунски, они нашаривают под снегом скрюченными от холода пальцами капустные листья, похожие на лопухи. Сваренные из них щи похожи на коричневую бурду. Но нам не до капризов...

Мы теряем счет переселениям. Точный адрес дома на Васильевском острове за давностью забылся. Но я отчетливо помню, что из его окон виднелась Нева и пришвартованный к набережной, вмёрзший в лед крейсер “Киров”. С него сняты все дальнбойные орудия, но взрослые говорят, что внутри него “электромашинны” изготавливают ток для заводов...

Где-то рядом с крейсером рванула бомба. Наш дом тряхануло так, что шкаф в комнате сдвинулся, начал заваливаться на нашу с Юркой кровать. Мама, подставив плечо, успевает водворить его на место...

После ускоренных курсов по разминированию отца переводят на казарменное положение, и он появляется дома урывками. Мама на мельничном комбинате, в вагонах, в которых возили зерно, наскребла мучной пыльцы и испекла из нее оладьи. С острым желудочным отравлением ее отвозят в больницу имени Мечникова. Предоставленные сами себе, мы нашариваем на коммунальной кухне кастрюлю супа, сваренного из кубиков репы и морковки. Выловив руками гушу и заметая следы, доливаем в суп сырую воду. Прознав про наше непотребство, отец забирает нас к себе в контору.

Как сейчас помню тот день. После сигнала отбоя нас с братом заводят в комнату с еще не осевшей известковой взвесью. Пол усыпан битым стеклом, кусками штукатурки, дранкой от развороченной оконной рамы. Мне суют в руки теплый, колкий от зазубрин осколок...

В начале артобстрела отец вышел из комнаты, чтобы спровадить нас в подвал. Едва он захлопнул за собою дверь, как шрапнельная россыпь шаррахнула по оконному косяку. Один из осколков рикошетом расщепил спинку стула, на котором за секунду до этого сидел отец. Корявая загогулина вонзилась в стенную перегородку на уровне его солнечного сплетения. С той поры я испытываю ко всем железкам с заусенцами жгучую неприязнь...

Зимой 1942 года из Ленинграда на Урал самолетами на Большую землю перебрасывают железнодорожных строителей, где под Свердловском в спешном порядке тянут через тайгу пути к меднорудным месторождениям. Отец отказывается бросить нас на произвол судьбы. Он выглядит настоящим доходягой. При своем внушительном росте весит 42 килограмма. Его тело покрылось синими цинготными пятнами, и ему уже не страшен ни гнев руководства, ни угрозы пистолетом, ни возможность ареста. Ответственный за эвакуацию начальник меняет гнев на милость, требуя лишь одного, чтобы ему выдали из кассы стройуправления всю имеющуюся наличность: “...и без всяких там расписок!”

— Выживу, отчитаешься за каждую израсходованную копейку! — парирует отец и слышит в ответ циничное:

— Конечно, отчитаюсь по полной! Если вы не сдохнете здесь всей семейкой скопом!

Мы с братом уже не способны говорить и лишь пищим:

— Пить... пить... пить.

Без посторонней помощи нам не залезть на кровать. От водянки на теле, даже при самом легком нажатии, образуются ямки. Врач сообщает родителям по секрету, что мы протянем неделю, не более...

В феврале 2017 года были опубликованы мемуары Д. С. Лихачева “Мысли о жизни. Письма о добром”. Почти половина книги маститого академика посвящена блокаде: “...Дома стало заметно лучше. Мама и Зина ходили к спекулянту Роньке, у которого за золото получали масло, рис и еще что-то. Масло нас очень поддерживало... Мы с детьми разучивали стихи — “Что пирует царь великий в Петербурге городке” (Пушкина). Дети тараторили их с удовольствием...” Оказывается, в блокаду одни “эники-беники ели вареники”, а другие околевали...

Нас спас механик автобазы. Весь стройотрядовский автотранспорт еще прошлой осенью реквизировали для фронта. За гаражом остались числиться лишь несколько покореженных грузовиков. Автомеханик предложил снять с них уцелевшие детали и попытаться восстановить хотя бы одну полуторку. Дело отца добыть бензин, получить в райкоме разрешение на эвакуацию и согласовать с военкоматом порядок передачи полуторки армейским частям на Большой земле.

В нашей семье вторым днем рождения считается 27 февраля 1942 года. В наступивших сумерках нашу полуторку при съезде на ладожский лед тормознули на контрольно-пропускном пункте для проверки документов. Отец так вспоминал этот роковой для всех нас момент: “Меня обдало жаром от предчувствия непоправимой беды. Я засуетился, зачем-то открыл крышку луковичной формы часов, стрелки показывали полшестого, затем зашарил по карманам в поисках нужных справок и с ужасом понял, что самую важную — пропуск с печатью, разрешающий выезд из блокированного Ленинграда, в суматохе сборов забыл в ящике конторского стола”. Он прекрасно отдавал себе отчет в том, что произойдет со всеми, если машину развернуть назад. Бензина и так едва-едва хватало, чтобы пересечь Ладогу. Постовой замешкался, решая, как ему поступить, откинул брезентовый полог кузова, пересчитал всех по головам и лишь потом дал отмашку шоферу пристроиться в хвост маршевой автоколонны, наказав держать дверца кабины полуоткрытой. От авианалетов на трассе хватало полыней. В темени, припорошенные метелью и даже обозначенные вешками — еловыми веточками, они были едва заметны. Открытая дверца оставляла шанс шоферу выскочить из машины на лед — до того, как грузовик уйдет под воду. По статистике до Большой земли добрались лишь три машины из четырех!

Вывез нас из блокадного Ленинграда автомеханик Иван Иванович Артемьев. Мама переписывалась с ним до своих последних дней и очень огорчалась, что мы с братом Юрой так и не удосужились навестить его в Твери.

У меня от Дороги жизни остались обрывочные воспоминания: подслеповатый свет машинных фар, выкрашенных в синий свет для маскировки, скудность тел, невозможностью шевельнуть ни рукой, ни ногой и постоянные толчки в бок чего-то жесткого, не то угла чемодана, не то короба. Потом... потом провал в памяти. Очнулся я в жарко натопленной избе, на печи. В комнате вповалку, так, что ступить было негде, вперемешку спали солдаты. Какая-то тетенька вливает мне в рот ложечку за ложечкой горячие щи. Судорожно сглатывая их, замечаю умоляющий взгляд отца и улавливаю его почти беззвучный лепет:

— Оставь мне пол-ложечки!

Сморенный духотой, под трескотню горящих поленьев я вновь проваливаюсь в забытье. Повзрослев и сопоставив отрывочные воспоминания старших со своими собственными, я восстановил канву событий. Переехав Ладогу и вроде бы уцелев, мы попали в аховое положение. По чьей-то оплошности наших фамилий в списке эвакуанта не оказалось. Никакие мольбы пустить нас переночевать не помогают. Все бараки, частные дома забиты до отказа. Выручил бесхозный патефон. Его пожилой владелец окоченел. Никто не знал его имени, не представляли, куда девать мертвеца, как распорядиться его жалким скарбом? Ну, взял бы с собою какое-никакое барахло, глядишь, что-нибудь и выменял бы на продукты. А тут на тебе — портфель с фотоальбомом и патефон! Никто не предполагал, что именно на патефон и позарится хозяйка крайней избы. Взяв его в качестве платы за постой, она пустила нас к себе на ночлег...

Утром, продышав наледь на оконном стекле, я зажмуриваюсь от резкого солнечного света. По ослепительно белому снегу цепочка моряков в черных бушлатах тащила на закорках к грузовикам блокадников. Таким же способом грузят и нас в машины и везут на станцию Войболоково. После авианалетов от нее остались развалины домов и стелящийся над ними дым от пожарниц. Нам подали состав из плацкартных вагонов. Мама до конца жизни была убеждена, что это было сделано по личному распоряжению товарища Сталина. Уполномоченный по составу раздает сухие пайки. На нашу долю достаются два брикета пшеничного концентрата и брусочек сырокопченой конины, перетянутой шпагатом. Силось отгрызть хотя бы кусочек от спрессованной пшеники. Она будто каменная, и ее просто так не укусишь. Нам с братишкой отрезают по лепестку конины. На картофельные очистки, “холодец” из казеинового клея или жмых, то есть на привычную для нас блокадную кормежку, конина ни чуточки не тянет. Да и привкус у нее какой-то резиновый...

Мне удалось сохранить мамины записи о той поре: “Поезд без остановки доехал до города Бабаево, где весь состав из тринадцати вагонов накормили манной кашей и дали хлеб не по карточкам, а поровну, по количеству людей. Наш сослуживец Зайцев, после каши, начал жадно давиться хлебом. Володя его предупредил, что у него заворотятся кишки, зная это по украинской голодовке. Поезд проследовал до Ярославля, где вначале выгрузили мертвецов, а живых с помощью военных привезли в санпропускник, где всех побанили, мужчин побрили, одежду пропустили через прожарочные шкафы, чтобы уничтожить вшей. Затем нас распределили по госпиталям, и мы оказались в школе № 1, на Тутаевской улице. В вестибюле висел плакат: “Добро пожаловать, блокадники!”, и делегаты от рабочих тут же rozdali ребятишкам кулечки с печеньем и конфетами. Кормили всех понемножку, зато четыре раза в день, а еще давали витамины и прогорклый рыбий жир...”

Мы с братом дней через десять встали на ноги. В детском отделении на лестничной площадке, такой же, как и я, рахитичный малец оседлал коньякачку с выдраным хвостом и обшарпанными боками. Мне тоже не метается покачаться на сказочном коньке-горбунке. Но “всадник” не желает слезать с лошадки, да вдобавок с ехидцей поглядывает на меня. Не выдержав издевки, вцепляюсь в волосы обидчика и стаскиваю его с коня. Мама помнит, как в ее палату влетела соседка по койке с радостными криками:

— Маруся! Маруся! Твой Шурик дерется!!!

Тяжелее всех шел на поправку отец. Его выписали из госпиталя под личную мамину расписку.

Нас везут на Урал. Посередине теплушки стоит привинченная к полу болтами буржуйка. Из ее топки прыскают искры. Поэтому малышню к ней не подпускают. Но мы с Юркой все равно крутимся вокруг да около. Мама на полустанке выменяла у торговки мороженые картофелины, порезала каждую на кружочки и печет их на чугунной конфорке. Мы хватаем с пылу-жару чуть поджаренные лепестки, убежденные, что лучшего лакомства на белом свете просто не существует. Днем нас запикивают на верхнюю полку, чтобы не мельтешили под ногами. От скуки затеваем игру. Тот, кто первый заметит выбежавшую из леса деревеньку, затыгивает: “Дерево... ушка... дерево... ушка”. Но эта забава нам быстро надоедает, и тогда остается просто глазеть в окошечко на высоченные ели. Закутанные в снежные тулупы, они похожи на дозорных в секрете. Только теперь осознаю, что работягу теплушку незаслуженно обошли вниманием. Ее бы возвести на пьедестал — вровень с танком “Т-34”, ракетной “Катюшей”, истребителями-ястребками...

И снова бесхитростные мамины воспоминания: “После приезда в Свердловск нам дали две недели отдохнуть, а затем привезли на Медную шахту и поселили в деревянном доме у вдовы Марии Федоровны. Она жила в нем с дочкой. Когда хозяйка с подпола достала казанок картошки с верхом, то она рассьпалась, и Юрик закричал — мама! теперь мы заживем, а я говорю почему?! а он ответил — у нас есть картошка, не понимая, что эта картошка не наша. Родила я там дочку Людмилу. Молока у меня в груди не было, а коровье стоило дорого, по 200 рублей литр. Приходилось его разводить водой и кормить малютку. Чтобы помочь семье, пошла раздатчицей в столовую, в которой кормили трудармейцев. Пришлось ребятишек отдать в садик, а Людмилу — в ясли. Она заболела и умерла от бескормицы, прожив всего два месяца”.

Ледяная корка отражает стылый лунный свет. Она хрустит под моими валенками. Лицо у меня закутано шерстяным платком по глаза. Мама тащит меня за руку вдоль забора, обнесенного сверху колочей проволокой. Она забрала меня из садика и торопится в трудармейскую столовую. А я знай себе тереблю ее вопросами:

— Отчего луна светит? Почему она холодная? Куда там подевались люди?

На угловой вышке закутанный по макушку в тулуп вохровец, колыхнувшись, забухтел:

— Почемучка-прилепучка — отзынь от мамки!

В бараке, приспособленном под столовку, глхну от разноязычного гвалта. Смуглые, с раскосыми глазами трудармейцы вперемешку с блондинистыми дядьками, давясь, протискиваются к раздаточному окну. Пробившиеся к нему орут с надрывом:

— Женщин! Гуща, гуща тафай!

Мама большим черпаком взбалтывает в котле булькающую жидкость и наполняет ею алюминиевые миски, подsunутые ей с разных сторон. Она у нас работает здесь раздатчицей. Мне тоже перепадает этого обжигающего хлёбова. В нем плавают капустные листья вперемешку с перловкой и обрезками, схожими по вкусу с брюквой. Стиснутый на скамейке мужиками в ватниках, сомлев от духоты и тепла, я пытаюсь понять, чего это они так расходились:

— Збачишь! Червонный когут заклюе чарного!!! То поляк тебе говорыт!

Меня бросает в жар. Я обвис на коленях у отца. У меня горячечный бред, температура за сорок, и родители мечутся, не ведая, что предпринять. Провалившись в бездонный темный колодец, я лечу, кувыркаясь, мне безумно страшно, потому что какой-то “когут” вцепился в меня своими когтистыми лапами, и, зайдясь в крике, вытаращив глаза от страха, я соскальзываю в холодном поту с папиных колен совершенно здоровехоньким.

— Не бойся, дурашка, — баюкает меня отец. — Твой “когут” — всего лишь безобидный петух.

До сих пор не понимаю, почему тот странный столовский спор застрял в моей несмышленной башке? Но застрял же!

Угревшись на печке, я исподтишка слежу за хозяйской дочкой, которая, сидя за столом, склонилась над книгой и усердно вычесывает из распущенных волос гнид. Они просяными зернышками сыплются на страницы, и, блаженно улыбаясь, она с хрустом давит их черепашьим гребнем. Пламя свечи придает ее рыжеватым волосам янтарный блеск. В печной трубе дико завывает домовой. Зеркало в комнате наглухо завешано вышитым полотенцем. Перед ним на этажерке коробочка. Преодолевая жуть, сползаю с печки и, встав на цыпочки, заглядываю в коробку. Там покоится крошечное, замотанное в пленку тельце моей сестренки со сморщенным синюшным личиком...

Дед Михаил погибнет в 1943-м. В воронке от авиабомбы отыщут лишь клочок его обгорелой брезентовой куртки. Он так никогда и не узнает, что его сыновья вернутся с войны офицерами. Не узнает, что правая рука его старшего сына Ивана после ранения разрывной пулей в плечо повиснет на жидочке, и что, отступая от Бреста, он возвратится и дошагает до немецкого Вюнсдорфа. Не узнает, что лицо его младшенького сына Федора сплошь усеют синюшные крапины окалины — память о болванке, чуть не снесшей башню танка, и что его младшенький будет участвовать в штурме Вены. Он не узнает, что блокада унесет около миллиона жизней, и только три процента из них погибнут от авианалетов и артобстрелов, остальных доконает голод, в том числе и его нарожденную внучку.

Волюшка-воля

Слово “борьба” в кругу нашей семьи долгое время вызывало настороженность. Косвенной виновницей тому оказалась наша коровенка. За ее парным молочком выстраивалась очередь страждущих. Среди них выделялся партиец с дореволюционным стажем. “Старый большевик” — вполне официальный титул той поры — необычайно пекея о своем здоровье и придавал особое значение целебным свойствам цельного молока. Судя по его прозрачным намекам, с его помощью он надеялся дотянуть до скорого светлого будущего. Заслуженный революционер очень опасался всяких там заразных туфельек-инфузорий и потому приносил с собою всесторонне продезинфицированные бутылки. Ветеран заявлялся ранее других покупателей, бдително следил за тем, споласкивает ли мама руки по возвращении домой, процеживает ли пенистое молоко через марлю. Его лицо при этом не покидало сомнение, а не подбавлено ли в наше молочко водичка...

Отдышавшись от подъема на четвертый этаж, бывший краснофлотец расстегивал всепогодную комиссарскую кожанку в лишаиных потертостях, доставал из ее недр мятый носовой платок размером с салфетку и отирал вспотевший шишковатый череп. Грузно опустившись на скрипучий кухонный табурет, стоявший посередке коммунальной кухни, он, томясь скукой, пускался в нравоучительные воспоминания, налегая на свою особую роль при штурме Зимнего дворца. Брылястый, с искореженными ушами, орденосец выглядел в моих глазах замшелым памятником времен Очакова и покоренья Крыма. Однако на сей раз он сжалился над нами и сменил пластинку:

— Тогда, при Николашке, мою фактуру околоточный заприметил и посоветовал в цирк податься, мол, труппу там набирают. Ну, я расхрабрился и объявил себя антрепренеру. Тот, как есть, по полочкам все разложил, муаровой лентой через плечо одарил, чтоб на арену выходил при полной авантюристности. Наказал всяким там приемам меня обучить и наставление дал принимать импозантность в алле-парадах, потому как чистые дамочки на нее особо горячо реагируют и букеты дарят. Было от чего уши развесить! Про гроши я вовсе забыл заикнуться. Ну, швунгами меня кормили так, что галерка со смеху покатывалась. Потерпел-потерпел, да и дал деру. Зато в империалистическую, когда забрали во флотский экипаж, отлились мои слезоньки. Трюков цирковых, хочешь не хочешь, а нахватался. Вот тогда-то я и поверховодил братишками-анархистами, рога многим пообломал.

Вернувшись с дойки мама застаёт бывшего циркового борца в расстегнутой до пупа рубашке, он обнажил для наглядности свои телесные вывихи, полученными им от разных там нельсонов, тур де бра и тур де тетов. Словом, об этом костоломном спорте у нас лучше было не заикаться. Конечно же, родители не догадывались, что во дворе давненько гуляла по рукам обтрепанная книжица с ятями про жутко секретную японскую борьбу джиу-джитсу. Перво-наперво в ней советовалось набить мозоли на боковинах кистей, чтобы ладонью, словно саблей, сносить головёхи супостатов с плеч. Вот этот самурайский приемчик я и доводил до совершенства. Мои кисти ломило, волдыри сочились сукровицей, но ребра ладоней не становились стальными. И все сводилось к вопросу: имело ли смысл продолжать совершенствоваться в джиу-джитсу или имело смысл переключиться на что-то менее болезное?

Разумеется, наши увлечения сменялись с неимоверной быстротой. То мы с помощью провололочной загогулины принимались гонять по улицам ржавые обручи от бочкотары, то из подручных материалов мастерили самокаты, затем наступал черед игры в фантики, пёрышек № 86 от вставочек или расшибаловки. Эта азартная потеха требовала от нас денежных затрат. На середину кона — прямую линию, прочерченную по земле, выставлялся столбик мелочи, после чего с расстояния в пять — семь шагов мы, согласно очередности, старался попасть в него свинцовым битком, да поспоровистей, чтобы перевернуть монеты с решки на орла. В промежутках мы расстреливали из роговатых воробьев, за то, что они приносили в клювиках гвоздики для Боженки, когда его плохие дяди распинали.

Но именно в ту описываемую мною пору Лиговка помешалась на маялке. Наверное, сегодня с трудом можно себе представить ажиотаж, порожденный этой забавой? Её мастерили из прошитых суровой ниткой лоскутков. Наиболее продвинутые прославляли тряпичный клок материи обрезками из кроличьих шкур — для воздушной лёгкости. В готовом виде она походила на лохматое мочало. Счастливым обладателем маялки чеканил, то есть поддавал ее ногами, первым. Он же определял и очередность. Победителем считался тот, кто, подбивая сей предмет стопой, долее всех не ронял ее на землю. Кто-то умудрялся поддать маялку внутренней стороной ботинка, а иные делали это с вывертом — задником, другие ловко чередовали ноги. Настоящие виртуозы безостановочно нащелкивали её до сотни раз. Слава об их искусстве катила по Лиговке, затмевая собою известность даже таких футбольных корифеев, как Бобров или Хомич.

Пришел с работы отец. Ветеран, обрадовавшись солидному собеседнику, пустился в рассуждении о каком-то пожизненно арестованном Морозове. По мне, такой разговор и яйца выеденного не стоил. Ну, сидел сиднем

страдалец в Шлиссельбургском каземате, жаль, конечно, но не Чапаев же, не Маресьев! А вот отец завелся с пол-оборота. Память у него на цифры, даты, фамилии была бухгалтерская, и где-где, а в истории он считал себя докой. Грех было не воспользоваться моментом, и мы с братом под шумок сматываемся во двор, не то отец, спохватившись, тормознет нас. Тем более что он грозился немедленно и серьезно заняться моим воспитанием. Специально для его успокоения я положил на видном месте на тумбочку тетрадный листок с моим клятвенным обещанием: “Я ученик 6-го класса 285-ой школы звеньевой Иванецкий Александр обязуюсь не нарушать поведения дома, в быту, в школе и на улице, а если я свою обязанность нарушу, то мой отец найдет для меня самую наихудшую расправу”. Батя в последнее время частенько пропесочивал меня за тройки и бузотерство, так что моя цидулька была очень и очень кстати. Да и от мамы желательно было улизнуть. Она еще от вчерашнего не отошла. Мы с братом, излущив друг друга подушками, все перевернули в комнате вверх дном, и она, поставив нас с братом на колени в угол на горох, уехала на вечернюю дойку. Застав нас сморенных, но каждого в своём уголке, она обрыдалась.

Во дворе перед Сабуром, Мешком, Сорокой, Сашкой Смирновым, Носарём и Пупсиком, словно сдобный сухарь в помойном ведре, выламывался сын домоуправши. Он давился булкой, намазанной маргарином в палец толщиной, к тому же щедро присыпанной искрящимися кристалликами сахарного песка. Жека делал вид, что не замечает возделенных взглядов, нацеленных на невиданных размеров “пирожное”. Про его маманьку ходило много всякого во дворе: и что она из выморочных квартир в блокаду мебели себе старинной ого-го сколько приволокла, и что лендлизовское какао домой коробками таскала. Может, и привирали. Хотя в их квартире от буфетов и пузатых сервантов негде было развернуться. Сабур с Пупсиком, видя, что никому ничего не светит, решили за лучшее отладить пугач и принялись прикручивать проволокой амбарный ключ к выструганной из дерева рукоятке “пистолета”. Носарь наловчился напрягать брюшной пресс перед ударом так, что совсем не чувствовал боли от удара кулаком в солнечное сплетение. Он отошел с Мешком в сторонку и принялся подначивать приятеля: “Ну-ка, врежь мне по брюху по полной, только не бойсь, бей со всего размаха!” Из подсобики, своего временного пристанища, нарисовалась дворничиха Федуловна. Ей выделили комнатку в коммуналке, но она предпочитала сдавать ее внаем. Дворничиха была теткой своейской. Она приохотила нас скалывать лед на тротуаре и очищать двор от снега. Мы ссыпали его на фанерный лист, затем, впрягшись в веревочные построжки и напрягаясь побурлацки, волочили поклажу к канализационному колодцу. Помимо прочего, Федуловна прививала нам навыки пристойного поведения в обществе. Как-то мы забежали в парадник, справлять малую нужду. Застукав нас за этим святым занятием, она всучила каждому по грязной тряпке и приказала подтереть за собою все дочиста. Дженгльменов из нас не получилось, но кое-какие правила хорошего тона, с ее подачи, мы все же усвоили. Поняв, что скандала не предвидится, дворничиха убралась восвояси.

Между тем во дворе нарисовался мой закадычный друг Дзюба. Вместо того чтобы разрулить ситуацию, он занялся укрощением своей непролазной каштановой шевелюры. Нас всех стригли под нулевку, оставляя на развод лишь челочки, а мой приятель давно перестал слушаться своих теток-опекуни, особенно после поездки в пионерлагерь. Вожатый у него оказался свой в доску и закрывал глаза на то, что Вовка, сбегая из лагеря в мертвый час, самочинно лазил по развороченным дотам, купался на Финском взморье и шастал по лесу в поисках разбросанных то там, то сям дымовых шашек.

— Стерва, лярва, маруха, подстилка, паскуда, курва, потаскуха, выдра... — Брань вперемешку с матом вырвалась из открытой форточки полуподвальной кладовки, в которой обитал Барон, получивший свое погоняло из-за золотой фикса. Мы завидовали ему, потому что он носил щегольскую кепку-лондонку из букле песочного цвета с каучуковым козырьком. Именно в таких кепарях вернулись наши футболисты на родину после матчевой встречи с англичанами на Уэмбли. А кроме того Барон рисовался перед нами

своей финкой с наборной ручкою из разноцветных плексигласовых шайбочек, при этом блатарь ловко цыкал слюной сквозь щелочку в зубах. Отправляя кого-либо из нас за папиросами к кинотеатру “Норд”, он не забирал сдачу, разрешая купить на остаток денег эскимо. Мы чаще сталкивались с ним не во дворе, а на барахолке, где он промышлял карточными фокусами, зазывая простаков:

— Шестерка выигрывает, туз проигрывает! Налетай, подешевело, расхватали, не берут!

Барахолка бурлила в шаговой доступности от нас — на углу Лиговки и Обводного канала. Она завораживала каруселью, смертельными гонками на мотоцикле по вертикальной стене и особенно тиром с изрешеченной свинцовыми пулями жестяной мишенью в виде карикатуры на ожиревшего палача югославского народа Иосифа Броз Тито с огромным мясницким топором в руке. На прошлой неделе Барон обнес продовольственный киоск у кинотеатра “Норд”. На дело он прихватил наших ребят, в том числе и моего братца, которого поставил на шухере. Всем, кто помогал ему обчищать киоск, воруго отвалил кулек “Раковых шеек”. Это лакомство едва не сгубило нас. Разузнав, что участковый милиционер обходит квартиры, выискивая фантики, все участники налета затаились на чердаке. Дзюба дал установку:

— Если потянут в отделение милиции, то Медведей не сдавать.

Под Медведями имелись в виду я с Юркой. Исходил он из здравых рассуждений. Во всем дворе только у нас был отец, и, в случае чего, батя задал бы нам отменную порку.

Женский визг, громохание кастрюль сопровождала очередная порция брани:

— Падла, мочалка, давалка, бляха-муха, профурсетка...

И ежу было понятно, что Барон устроил выволочку очередной своей сожительнице.

— Ты чо свою лохматку прячешь! Глянь какая курва стеснительная, будто гимназисточка!

— А чо мне ее стесняться! Я все одно из нее сцу...

Форточка с треском захлопнулась, оборвав их перепалку на полуслове. Мы дружно гоготнули. Тем временем к жаждущим оттяпать хотя бы кусманчик лакомства у Женки присоединился Володька Порфель по прозвищу Костыль. Он пару лет назад неловко соскочил с “колбасы” — буфера для сцепки вагонов — и угодил под колесо трамвая. Ногу ему ампутировали по колено. Освоившись с костылем, Порфель в промежутках между футбольной, городками, прятками, лунками, ножичками или игрой на деньги в пристенок зарабатывал себе на житуху попрошайничеством. В набитом пассажирами трамвае Костыль жалобно заводил:

— Жил-был великий писатель, Лев Николаич Толстой, ни хлеба, ни мяса не кушал, по саду ходил он босой...

Володька ловко косил под жертву войны, и мелочи ему перепало немало. Костыль, поправив, для порядку, на голове тубетейку, с ходу предъявил сынку домоуправши ультиматум:

— Дай куснуть, а то врежу!

Румянцев хамовато отрезал:

— Сорок один, ем один.

Тут попытался было встрять Пупсик, но не вышел росточком. Спорящие не удостоили его даже взглядом. Костыль не унимался:

— Сорок восемь — половину просим!

И схлопотал в ответ:

— Нечем крыть — полезай в манду картошку рыть.

Маменькин сынок по части фени был еще тот хват. Запахло потасовкой. В такой перебранке самое важное — не спасовать перед противником и оставить за собою последнее слово.

— А в манде не огород, и картошка не растет.

— А мы Америку открыли и картошку посадили.

Костыля такой пустяковиной было не пронять. Он из непечатного много чего заковыристого знал и ответил похабенью, вызвавшей наш всеобщий

ржач. Поле боя осталось за Порфелем. Но Костыль не был бы самим собою, если бы не закрепил свое верховенство развеселым куплетиком:

*Пошел купаться Уверлей, Уверлей,
Оставив дома Доротюю,
А взял лишь па-а-ару пузыре-е-ей,
С собою, плавать не умея.*

Этой крутящейся в мозгах бойскаутскою дребеденью заразил его Дзюба. В пионерлагере она заменяла отрядам строевую песню. Лакомство тут же разнесли по кусочкам. Ничего не досталось лишь тихоне-вундеркинду Сашке Смирнову. Он дичился наших передраг, особенно после того, как его застучали у раструба водосточной трубы, в которую Сашка надрывным шёпотом выдавливал из себя:

— Папка, вернись! Мы ждем тебя!

Никто из наших не решился поизгаляться над ним. Санек был палочкой-выручалочкой и безропотно помогал нам решать задачки по математике, взамен прося составить ему лишь партию в шахматы. Обычно отряжали к нему меня. В договоренный час гостя в прихожей смирновской квартиры ждал целый церемониал. Пожилая женщина, которая независимо от погоды ябко куталась в шаль, говоря мне *Вы*, провожала в кабинет, где за шахматной доской с аккуратно расставленными фигурами с нетерпением дожидался меня Смирнов. Поделав быстренько первые ходы, я принимался глазеть по сторонам. В его комнате столько было всего прелюбопытного: микроскоп, пузатый глобус, готовальня, лорнет, инкрустированный перламутром, бронзовая настольная лампа, настенные часы с боем. Неизменный бумазейный свитер свисал с Сашкиных плеч. Из его ворота торчала цыплячья шея приятеля. Чудо, что она не хилилась под тяжестью его лобастой головы. В середине партии раздавался глухой бой часов. Дверь из гостиной бесшумно открывалась, и в кабинет на цыпочках входила почти что копия предыдущей старушеницы. Она несла поднос со стаканами чая в ажурных подстаканниках и блюдечко с двумя конфетами-подушечками. Сашка, обдумывая очередную комбинацию, вслепую брал причитающуюся ему конфетку, долго смаковал ее. По всему выходило, что Сашке не часто перепало такое лакомство. Нарочито позевывая, я делал вид, что сыт сладостями по горло, и тогда он украдкой тянулся и за моей конфеткой. В полуоткрытую дверь гостиной виднелись висевшие на стенах картины в рамах с потускневшей позолотой. Задрапированное занавесями окно почти не пропускало свет, и невозможно было разобрать, что на них изображено. От сумрачности неподселённой квартиры, от дребезжащих на подносе подстаканников, от глухого боя курантов, чопорного обращения веяло какой-то загадкой. Но Сашка на все мои попытки разговорить его так и не повелся.

Пока Порфель разводил свои бойскаутские рулады, Мешок смотался в сарай, притащил оттуда запертую в клетке крысу, фляжку с керосином и устроил ей аутодафе. Открыв дверцу, он ткнул в охваченную огнем крысу щенкой, и визжащий, объятый пламенем клубок под гикающий посвист Мешка рванул через подворотню на улицу. Обезумевшая крыса ткнулась в трамвайный рельс, заметалась в поисках выхода и, поворотив во двор, подкатила прямо под ноги своего мучителя. Мы все ненавидели это хвостатое отродье еще с блокадных времен, но наш приятель явно перебрал. Дзюба турнул его со двора взашей. Чтобы как-то сгладить впечатление от произошедшего, мы уговорились с утречка драпануть на цементку.

За Волковым кладбищем трамвай делал кольцо. На подъезде к нему сигнаем с “колбасы”. Заткнув носы, чтобы не вдохнуть запаха падали, на всех парах мчимся мимо мыловаренного завода. Что ни говори, а хозяйственное мыло отдаёт моргом. Преодолев крутую железнодорожную насыпь, галопом несёмся вдоль веера подъездных путей. Справа за хилыми тополями круглятся цистерны нефтеперегонного завода. Его трубы, обмотанные каким-то дражным теплоизоляционным материалом, время от времени выстреливают струйками пара. Слева обозначился корпус механического цеха. Сразу за

ним, у светофора, торчала водокачка, и за нею виднелась наша цементка. Она представлял из себя бездонную ямину, окаймленную редким камышом. Ее песчаный берег усеян обломками металлических стружек. Так что, добираясь до воды, приходилось смотреть в оба, чтобы не поранить ступней. Нанырившись до холодрыжности, мы голяком распластывались на песке. Составы грохоча проносились мимо и, завидев в окнах пассажиров, мы приветственно махали им трусами. А затем переворачивались на спину и мечтательно следили за стенающими чайками. Покружив в выси, они устремлялись куда-то в неведомую нам даль, к заливу.

Сон длиною в жизнь

После блокады в Питере не водилось ни голубей, ни воробьев, ни кошек, ни аквариумных рыбок. В войну всю мало-мальски съедобную живность употребили подчистую. Поэтому слух о том, что у Медведей, то есть у нас с братом, на четвертом этаже объявился теленок, был воспринят во дворе как заведомые враки. Кстати, медвежьи прозвания прилипли к нам из-за купленных по случаю родителями шубеек коричневого цвета из китайского искусственного меха. Шубенки приобретались, разумеется, на вырост, оказались нам до пят, и мы передвигались в них по-пингвины, враскачку. Обнова оказалась непробиваемой ледышками при штурме снежных крепостей. Так что в атакующую шеренгу мы выставлялись первыми.

В семье, с народившейся сестренкой Зиной, нас насчитывалось уже пять душ. Работную лямку тянул отец, и родители тряслись над каждой копейкой. На мое десятилетие дома было устроено по тем временам отменное угощение — чутунная сковородка жареной картошки, с верхом. Подсолнечного масла в наличии оказалось две столовых ложки. Пришлось поддывать водичку, и картошка вышла парено-жареной. Да кто же тогда на такие пустяки обращал внимание. Угощение смели враз. Мы с Юркой, пытаясь подсобить родителям, затеяли розничную торговлю и поштучно продавали у кинотеатра “Норд” то самодельные папиросы, то сайки, то букеты сирени. У меня лучше всего получалось торговать ирисками. Я не суетился, не бегал, нахваливая товар, а просто торчал с конфетами на тротуаре у нашего дома. Если ириски заветривались, то я скрывался в подворотне, облизывал их, и они вновь приобретали завлекательный блеск...

За давностью времени не вспомню, кому из родителей пришла в голову шальная мысль завести корову. Скрыть ее от сыскного ока участкового милиционера или от пронырливой управдомши, Женькиной мамы, было вещь невозможной. А ведь надо было умудриться выпастить ее... на брусчатке. Так что всю затею с коровой иначе как чистой воды авантюрой и не называли. Однако в складчину с шофером автобазы, вывезшим нас из блокады, в Эстонии было приобретено теля, так что согласно паспортным данным она считалась чухонкой. В ту пору в Прибалтике с револьверной скоростью вводились колхозы, и на мызах скотину или пускали под нож, или сбывали по бросовым ценам на сторону — по три рубля за кило живого веса.

Отец взволков телочку на четвертый этаж, снял панцирную сетку с кровати и устроил ей нечто вроде яслей. В загородку насыпали толстый слой опилок, но паркет все же вспучился. Телушка не стесняла себя в отправление естественных потребностей. Для проверки слухов к нам в коммуналку зачастили визитеры. В нашей пенальной крой комнатенке теля своим влажным, шершавым языком радостно облобызывало гостей. Умиленные удивленным, они подтвердили правдивость неслыханной новости, и наш авторитет во дворе подскочил до небес. Продолжалась эта катавасия пару недель, пока телушку не пристроили в сарай за Волковым кладбищем. Мы вздохнули свободнее, дивясь тому, что никто из соседей по коммуналке или жильцов нашего дома так и не стукнул на родителей, куда надобно...

Молога нам с братом почти не перепало — только сестренке, по ее малолетству, потому что практически все шло на продажу. Во дворе нас стали обзывать куркулями, потому что теперь хлебные крошки мы не смели бережно в ладошку, а отправляли их в ведро, туда же спроваживая

картофельные очистки и все остальные объедки. Так что Машке, вкупе с комбикормом, варилось вполне съедобное пойло. По весне мы ублажали нашу благодетельницу сочной травой. Родители отряжали нас с торбами на Волково кладбище. Чтобы не цапаться с братом, мы его поделили. На Литературных мостках рвал траву я, начиная от памятника поручику фельдбегерского полка и до мраморного надгробия какому-то архитектору по имени Бенуа.

Войдя в возраст, я с удивлением узнал, что в Питере не только мы выпасали корову на асфальте В то же время подобным способом добывала себе пропитание семья широко известного сегодня политолога Н. А. Нарочницкой. А в стародавнюю пору, при царях-императорах, в Санкт-Петербурге коровой обзавелся знаменитый декабрист Рылеев. Он снимал квартиру на Мойке, в самом аристократическом районе столицы, и приобрел скотину, по воспоминаниям своего слуги, не для прокорма, а ради бытового опрошения.

Главная же заслуга Машутки заключалась не в ее удойности, а в том, что из-за нее мы на целое лето выезжали в Карелию. Полторка привозила нас в конце мая в Каарлахту, поселок где-то на полдороге между Приозерском и Сортавалой. На постой в хибарку, стоявшую верстах в трех от железнодорожной станции, нас пускал знакомец отца — путевой обходчик Федоров. Он казался махоньким — чуть выше валенка. Создатель, по всему виду, собирал его из запасных частей, однако обходчик не оплошал: взрастил четверых сыновей и двух дочерей. Их, полесских погорельцев, переселили из Белоруссии на Карельский перешеек сразу же по окончании войны. Они крутились по хозяйству без роздыху. Тон всему задавал глава семейства. Своей первой заботой он считал содержание в порядке инструмента. Федоров с особым тщанием налаживал косу: отбивал, правил, точил, — словом, нежил. При этом постоянно бубнил себе под нос одну и ту же притказку: “Косил косой косой косой косогор, а косорылая, с косами, косой косой на косе косила до косогора”. Мои потуги взять в толк, что в его бормотне к чему, к логическому выводу не приводили. Ну, допустим, косоглазый косил кривой косой, да еще в дупель пьяный. Тут вроде более или менее все сходилось, но далее я ничего не мог уразуметь...

Взрослые ютились в бревенчатой избе, воздух в которой пропах овчиной, дегтем и квасом. Способ его изготовления отличался простотой. В сенях стоял жбан с колодезной водой. В него, по мере надобности, бросали ржаные корки и помятым медным черпаком всяк желающий утолял жажду вспененной жижицей похода. Шипучая кислотина сшибала наповал. Удивительно, но здоровью федоровской семьи самопальный напиток не вредил, а, наоборот, способствовал развитию трудовых навыков. По крайней мере, сыновья у обходчика выросли рукастыми. Порубив на кусочки свинцовую проволоку, они обкатывали дробинки меж днищ сковородок, добиваясь заводской округлости. Затем они насыпали ее в патроны и затыкали их самодельными войлочными пыжами. А еще они обучили нас добывать мезгу. С молодой березки обдиралась кора, ствол обнажался и с него перочинным ножиком соскребался тонюсенький, словно папиросная бумага, слой сладкой пленочки. По части деревянной смекалки мы с Юркой им и в подметки не годились.

Мест в халупе для всех не хватало, и нас спроваживали спать в амбар — единственное уцелевшее строение от финской мызы. Низ амбара был сложен из циклопических валунов и предназначался для скотины. А просторный чердак служил сеновалом. Там мы и ночевали. Спали, закутавшись поплотнее в ватники и надвинув шапки-ушанки по самые брови, иначе комарье отцеживало за ночь по граненому стакану кровищи. Взрослые на чердак почти не заглядывали, строго-настрого наказав не переводить сено в труху и не рыть в нем нор. Но пойдя-сыщи в амбарной полутьме все наши лазы-перелазы для прятков.

Дочки обходчика были на выданье и форсили, изображая из себя взрослых. По воскресеньям их отпускали в клуб на танцы. Прихорашиваясь, они прилаживали себе на головы бархатные валики и накручивали на них челки. Кто не ведал об этих уловках, думал, что волосы у них густющие и не для всякого гребня пролазные. Однажды они взяли меня с собою в пристанционную лавку, чтобы помочь купить крепдешина на выходные платья.

Дефицитную ткань продавали не по талонам, а в порядке живой очереди. Поэтому более настырные особы так и норовили протиснуться в обход ее к прилавку. Сестры растерялись, а я под руками теток пролез к продавщице и умудрился отхватить для сестер отрезы в мелкий рисунок. С той самой поры я проходил у них за знатока по части женской моды...

На хуторе у нас образовалась свойская компания: сестренка Зина, хозяйские ребята, мы с Юркой плюс собака Динка. Она держала нас, городских, своим оскалом на расстоянии. Мы то так, то эдак подлизывались к ней, даже подбрасывали ей леденцы, но тщетно. У прежнего владельца она несла охранную службу и свой рыкающий чин блюла. Баклуши мы били редко. Забот хватало на всех. Одно из первых мест по хлопотности занимала картошка. Из экономии ее сажали глазками, срезали с клубня кружалки с проросшими росточками. Их-то и прикапывали в лунках. Поэтому одного клубня хватало чуть ли не на всю грядку. Затем картошку пололи, поливали, окучивали, пропальвали от колючих сорняков и опять окучивали. При всем этом было необходимо строго соблюдать меры безопасности. Дело в том, что грядки, в нарушении всех советских законов, нам отвели на территории карьера, в котором добывали щебень. Главное начальство при этом оставалось в неведении. Иначе мы бы получили шиш с маслом. Гранит рвали динамитом. Под ревущий вой сигнальной сирены все покидали опасную зону и спешили в укрытия. Иногда заряд в шурфе не срабатывал, и поэтому считалось за лучшее чуток выждать. На беготню до канавы, в которой мы хоронились от взрывов, уходило много времени. И если нас с братом посылали на картошку одних, то мы не бежали, сломя голову, прятаться от гранитной шрапнели, а плюхались в междурядье, прикрыв на всякий пожарный случай головехи дырявыми ведрами.

Помимо огородных забот на нас лежал выпас коровы, хозяйских овец, козы и борова Яшки. Сложнее всего управиться с хряком. Хворостины он не боялся и рыхлил своим пятакон все подряд. Кроме того, в очередь с Юркой мы носили пятилитровый бидон с молоком на маслобойню, к станционному переезду. Дело в том, что владельцы коров, вне зависимости от прописки, облагались спецналогом. Его погашали или молоком, или, по желанию владельца, маслом. Поэтому за лето мы торопились рассчитаться с государством сполна. Машкино молоко на сепараторе брали с охотой. Наша коровенка, видимо, знала оговоренный законом процент жирности.

Иногда нам давали отгул. Отрезав по толстенькому ломтю ноздреватого хлеба, посыпав его щедро крупной солью, нарвав в огороде пучок сочно хрустящих луковых стрелок, мы с ватажным улюлюканьем уматывали с хутора куда глаза глядят. Если честно, то они у нас разбегались. Озерища, озера, озерки всюду окружали хутор обходчика. С крыльца, на ближайшем, были видны плещущиеся утки. Его сплошь покрывали лилии, а в глубине колыхалась тина — прибрежище линей и карасей. На карьерном озере водились раки. Они боком-боком шастали по дну и были видны как на ладони. Их ловили без всяких затей — голыми руками. До Ладоги надо было добираться часа два, а то и более. Без взрослых мы туда не решались ходить. Своей у нас считалась Вуокса, то ли безбрежная река, то ли безразмерное проточное озеро, начинавшееся прямо от железнодорожной станции и простиравшееся до Приозерска. Обрамленное скалами, поросшими сосняком, обильное островами и шхерами, оно магнитом притягивало нас.

В камышах мы прятали рассохшуюся плоскодонку с ржавой лопатой вместо весла. Взрослые, разумеется, о ней не догадывались. Иначе пошли бы расспросы, мол, откуда она у нас взялась? Если честно, то мы ее умыкнули от ветхого причала. Полузатопленная, она выглядела ничейной, и грешно было этим не воспользоваться. А иначе на чем бы мы варяжили? Суденьшко оказалось не больно-то устойчивым, и нам не всегда удавалось с ним совладать, особенно при порывистом ветре. Волны захлестывали лодку, и мы едва успевали консервной банкой отчерпывать воду. По-настоящему нам становилось страшно лишь тогда, когда вдобавок припускал хлесткий дождь. Выгребая против ветра, мы, дрожа от страха, во все горло принимались орать про крейсер "Варяг" и про то, что "пощады никто не желает". Но ненастье сменялось

тишью да гладью, и мы принимались блеснить щук у кромки камышей. Размер меньше полена нами в расчет не принимался. Федоровские ребята однажды умыкнули с карьера парочку толовых шашек с бикфордовыми шнурами с запалами и глушанули рыбу. Лодку трянуло взрывом так, что она чуть не развалилась. Больше толком мы не баловались. Выловленная плотва, окуни, красноперки запекались на костре и тут же жадно уплетались. Кстати, рыбацкое везение нам сопутствовало всегда, потому что федоровские знали приворот. Если клевалось ни так ни сяк, они принимались шаманить: “На бздёшь рыба ёрш, а на сцаку рыба всяка, на бздёшь рыба ёрш...” и далее по тексту. Закончив речитатив, они расстегивали ширинки и дружно мочились с лодки прямоком в озеро. Их камлание оказывало особое воздействие на окуней. Они возникали из глубин и кружили вокруг да около лодки, своим тельняшным раскрасом и нахрапистостью напоминая поддулявшую матросню. С наскока окунь мог наброситься даже на пустой крючок. Крупную добычу мы на куканах опускали в воду, сберегая до дома. От степени рыбацкой добычливости наша вольготная жизнь очень даже зависела.

Как особое приключение мы воспринимали “лесозаготовки”. Грибы таскали неподъемными корзинами, чернику — ведрами. За ягодой отправлялись на Ладогу. Ее там водилось столько, что отец плохался на мох всем телом и, переваливаясь с боку на бок, собирал чернику, по сути дела, не сходя с места. Бруснику шмыгали горстями на обратном пути. Но больше всего нам нравилось собирать морошку. Багряная неженка с едва уловимым ананасным ароматом не годилась для заготовок, и взрослые ее не жаловали. Поэтому нас по морошку отпускали одних. Она росла на мшистых коврах с подстилкой из сплетённых трав. Ковер пружинил, и мы словно на батуте прыгали на нем, стараясь в ухарстве превзойти друг друга. Последствия такой цирковой акробатики могли иметь самый печальный исход. Прорвись тонкая травяная ткань, и трясина засосала бы лихача. Но высшие силы дуралеев милуют... С наступлением сумерек родители расстилали на берегу Ладоги полотняную хустку, выкладывали на нее домашнюю снедь и, разведя костерок, пекли картошку. А я, перескакивая с валуна на валун мыса, вдававшегося в залив, насколько возможно дальше уходил от берега и зачарованно смотрел на стальную рябь, которая, стелясь к горизонту, сгущалась до синевы, и, устремляясь ввысь, таяла там в перламутровых сполохах нарождавшейся зари.

Это случилось на сенокосе. Ради него наш батя брал отпуск, и все “хуторяне”, и стар, и млад, переселялись в луга. Отец с обходчиком косили тимофеевку, сеянную еще финнами. Ее плотные шеренги своими верхушками-киверами напоминали гвардейское каре. Их вжикали под корень, и они падали навзничь — ровнехонькими рядами. Наперегонки с федоровскими мы с братом собирали скошенную траву в валки, потом их ворошили для просушки, а чуть погода сгребали в копенки. Подсунув под них слези, мы подтаскивали сено к стогу, который метали взрослые. Все делалось без передыху, спешно, пока стояло ведро. Труха, набиваясь за шиворот рубахи, нещадно кололась, соленый пот заливал глаза, но особенно досаждали оводы, так и норовя впиться в тело побольнее. Покос нам отвели на полях колхоза “Путь Советов”. По уговору с председателем косили за третью кошну. Две забирал себе колхоз — третья считалась нашей. Отец, в сердцах, обмолвился: “Горбатимся словно на барщине”. Оброни он эту фазу где-нибудь в ином месте, ему бы было несдобровать. Но мы мало тогда что смыслили.

Стог рос, радуя глаз своими размерами. Взрослые укрыли макушку от дождей брезентом и обчесывали бока граблями. А мы вертелись вокруг них и скулили, чтобы нас отпустили искупаться. Отец посмотрел на выцветшее небо и махнул рукой:

— Геть звидсья!

Нас будто ветром сдуло. Только я замешкался, выручая сестренку. Зина потерялась в траве и заверещала с перепугу:

— Здесь нет ни входа, ни выхода!

И точно: тимофеевка скрывала ее с макушкой. Догоняя ребят, я попытался сократить путь и оказался на незнакомой мне пыльной дороге. Непонятно, откуда она взялась, где начиналась и где кончалась. По обе стороны

от нее щетинилась стерня. Я сбросил сандалии и, приминая цветы, пошел по меже. Странно было идти с ощущением, что ступаешь по чему-то живому. Какое-то время спустя я оглянулся. Мне показалось, что дорога ждала меня, словно терпеливая старая кляча. Наконец под ногами захлопало, и за тростником забликовало озеро. При моем появлении лягушки бултыхнулись в воду, превратив меня в великана. На берегу лежал плоский валун. Ледники отполировали его до зеркального блеска. На воде плавало солнце, дробясь и слепя глаза своими масляными бликами. Наши куда-то запропастились, и я решился на заплыв. За лето мною был освоен “собачий” стиль, над которым только ленивый не потешался. Для порядка остываю: сняв рубаху и сатиновые шаровары, окунаю ноги в воду. Она пахнет розогом. Икры защекотали мальки, приняв волоски на ногах за мелкотравчатую водоросль. Над камышами затанцевал столбик хмельной мошкары. Распластавшись на камне, я млею, пропитываясь его глубинным теплом. Спихватившись, ощутил, что плыву, ощущая как бы невесомость, и на удивление не по-собачьи, а саженками, в подражание отцу. Раньше у меня так не получалось. Опустив лицо в воду, успеваю рассмотреть песчаное дно в изгибах, схожих со стиральной доской, и переливчатые пузырьки. Прорываясь струйным жгутом сквозь донные отложения, они рассыпались упругой пенной шапкой. Оказалось, что до другого берега рукой подать, но вместо знакомых мостков, с которых мы не раз ныряли с разбега, меня встретила стена деревьев, стоящих по щиколотку в воде. Их макушки переплелись в вышине. Непонятно, куда это меня занесло?! У меня возникло чувство, что если добраться до вершин деревьев, то все прояснится. Робея, лезу по лианам вверх. И лишь достигнув крон, замечаю меж ветвей нечто вроде открытой веранды, по которой прогуливаются стройные, загорелые люди, одетые в короткие туники, с лавровыми венками на головах. Они призывно машут руками, подбадривая меня. Еще усилие, и я окажусь среди них.

Прихожу в себя от надрывного:

— Шурка! Шура!! Шурка!!!

Так может кричмя кричать только мама. Сколько раз умолял ее называть меня Сашей! А то стыдоба! Будто я все еще первоклашкой бегаю в коротких штанишках. Поднявшись с валуна, одеваюсь. Пытаюсь взглянуть в тот берег. Он скрылся в дрожащем мареве. Оглядываюсь назад. Там терпеливо ждет меня все та же дорога, и я отчетливо вижу ее потрескавшийся от знойного пекла лоб.

Утоги

А теперь о ней родимой — о борьбе! Мое увлечение ею совпало с трауром, утогами, открытием пляжного сезона и появлением на щеках хотимчиков. На семейном совете было решено, что по окончании семилетки нам с братом желательно получить техническое образование. Корову Машку родители продали, и зарплаты отца семье катастрофически не доставало. При удачном раскладе, если экзамены удастся сдать на “хорошо”, можно будет рассчитывать на стипендии. А это как ни крути, хоть и мизерная, но все же прибавка к семейному бюджету. Мне удастся поступить в радиотехникум. Он размещается на углу улиц Моховой и Чайковского в старинном особняке, выстроенном в стиле барокко. Внутренний интерьер здания, принадлежавшего до революции богатым из богатеев, уральским заводчикам Строгановым, сохранял следы прошлого великолепия. От парадного подъезда на второй этаж вела мраморная лестница, паркетный пол директорского кабинета впечатлял своим узором, стены овальной приемной были облицованы дубовыми панелями, а потолок зала для торжественных раутов, приспособленный под спортзал, украшали пасторальные росписи.

В то памятное мартовское утро по радио передали сообщение: после тяжелой болезни... великий вождь... учитель... Сталин... Траурные мелодии, зазвучавшие из репродуктора, лучше всего подтвердили, что я не ослышался. Наспех одеваюсь и мчусь в техникум. Мои сокурсники наверняка уже там. На улице промозглый ветер пробирает до костей. В забитом до отказа

трамвае вроде бы теплее, но от гнетущей тишины, повисшей в вагоне, по коже бегут мурашки. На лицах — угрюмая сосредоточенность. Все словно ушли в себя. На остановке у Московского вокзала в вагон втискиваются две щебетуны-фэзэушницы в форменных тёмно-синих фетровых беретиках, кокетливо сдвинутых набекрень. На хохотушек цыкают:

— Заткнитесь, дуры!

Девчонки, поперхнувшись смешком, испуганно съезживаются, не понимая в чем дело. И снова вагон погружается в гробовое молчание. Скрежет трамвайных колес на поворотах да нервные треньканья вагоновожатого перед остановками лишь усиливает его...

Техникум бурлит. Моими друзьями верховодит староста Витька Маврин. Он предлагает немедленно скинуться по трояку на венок. Витька парень тертый и абы чего не ляпнет. Его слушаются беспрекословно. Приземистый, с заметными залысинами, Витька выглядит гораздо солиднее нас. У него на лацкане пиджака красуется значок спортсмена-разрядника по прыжкам в воду, а кроме того, за его плечами школа водолазов. А это, сами понимаете, не хухры-мухры! Сын дворничихи приучен с малолетства зарабатывать себе на хлеб. По его наводке после занятий мы отправляемся на халтурку: колом дрова и разносим их вязанками по квартирам. Во многих домах отопление печное, и работенки по осени нам всегда хватает. А еще он берет нас с собой на сортировочную станцию разгружать пульманы с овощами. Вот уж где хребтину наломаешь. Зато лишняя монета благодаря Витькиной смекалке у нас не переводится. В последний раз мы взялись разгрузить пульман с картошкой. Ее следовало насыпать в ящики и укладывать в штабеля на перроне. К вечеру мы основательно подсыхли. Обратились было за подмогой к грузчикам, но те заломили несусветную цену, так что пришлось отказаться от их помощи. Тело ломило, руки не гнулись. В полночь мы выгребли картошку из вагона подчистую. Трамваи не ходили. Мокрый снег лепил в глаза. В дополнение ко всем бедам у меня оторвалась подошва. Пришлось примотать ее проволокой. Я шел в подслеповатой тьме, чавкая раздолбанным ботинком по слякоти, увертываясь от снежных зарядов, шел несгибаемой поступью пролетария пульмановского труда.

На ноябрьскую годовщину, новогодний праздник или Первомай мы собираемся в Витькиной дворничихой комнатенке-подклети с дугообразным потолком. Стол накрываем вкладчину. Денег с сокурниц не берем. Так заведено Мавриным. Его мамаша готовит на всех тазик винегрета. Мы в свою очередь покупаем кабачковую икру, килек, трески горячего копчения и, если повезет, то и пару баночек шпрот. Из горячительного берем, что покрепче и подешевле. Чаще всего выбор падает на “Дубняк”, вяжущий рот. Но, выдерживая марку, мы не подаем вида, что пьем несусветную пакость. Для девчонок приобретается торт, украшенный ядовито-фиолетовой розочкой, изваянной кондитерами из чистейшего маргарина, и бутылочку приторно-сладкого ликера. Розочку в завершении застолья разыгрывают на пальцах. Счастливчик, на долю которого выпадает выигрыш, уплетает ее под обильное слюноотделение остальной братии. А потом устраиваются танцульки под патефон: “О море в Гаграх, шум прибоя в Гаграх...” Разумеется, шуры-муры, но распускание рук исключается напрочь. В школах мы учились раздельно, и только техникум свел нас вместе с девчонками. Так что подружки воспринимались нами как существа, сотворенные исключительно из эфира, принцессы.

Все поддерживают инициативу старосты. Предлагается, не рассусоливая, выбрать делегатов и немедленно отправить их вечерним поездом в Москву. Цыганистый, заводной с пол-оборота Генка Рожин идет и того дальше. По его разумению, следует немедленно написать коллективное заявление о приеме всего нашего гидроакустического отделения в комсомол. Втиснутая в темно-коричневое платье, насквозь прокуренная математичка с гладко зализанными волосами, стянутыми на затылке в тугий пучок, проходя мимо, приземляет нас:

— Никому не расходиться! Скоро траурный митинг. Принесите из подвальной кладовки в актовЫй зал портреты членов Политбюро.

Вскоре после смерти Сталина меня приняли в комсомол. А уют, точнее, уюги мне понадобились в апреле и вот для какой надобности. Весна выдалась бурной. Она одарила город редкостным теплом. Забияка ветер загнал за Кронштадт неприглядные серые тучки. Очищенное от облаков небо заголубело. На нем с утра до утра сияло солнце. Отчаянные девчонки перепугали мини-юбками ноздреватые сугробы до того, что те расплзлись по темным закоулкам. Сосульки во всю заксилофонили капелью, а хрустальные эполеты водосточных труб крошились на глазах у прохожих. А у стен Петропавловской крепости любители загара открыли свой пляжный сезон.

Надо сказать, что коренные питерцы помешаны на загаре. Приликая телами к гранитной облицовке Трубецкого бастиона, наиболее защищенного от продувных сквозняков, самые закаленные из петербуржцев уже к середине мая, времени цветения черемухи и ледохода на Неве, успевают “сгорать” до черноты. К тому же Петропавловка слыла не просто пляжем, а элитным клубом. Новичок вычислялся сразу. Он не умел причалить к берегу льдину соответствующих размеров, не догадывался насыпать на нее песочку с горкой. Приблудный лох страшился встать на песчаную “подушечку” голой стопой и другой ногой изящно оттолкнуть свой “плотик” от берега. Проплывать на дрейфующей вдоль береговой линии льдине полагалось в позе оловянного солдатика. Ни в коем случае нельзя было показать, что холод пробирает тебя до косточки. Правила требовали сохранять полное бесстрашие на лице, игнорируя при этом восторженные взгляды дилетантов. Уловив миг, когда течение утаскивало льдину на быстрину, надо было небрежно нырнуть в обжигающую стылость невской воды. А затем, вспоров поверхность реки кролем, оставив за собой бурный след, выбросить свое тело на пляжную кромку и как ни в чем не бывало встать на колено, затем распрямиться во весь рост и, не отряхивая капель, небрежно пройти на свое место к гранитной стене бастиона и вновь замереть у нее сфинксом. И только тогда завсегдатаи Петропавловки награждали смельчака аплодисментами.

В тот самый апрель мой закадычный приятель Дзюба купил в промтоварном магазине хбэшные трусики, которые сидели на нас в облипочку. О шортах, плавках из эластичных материалов и подобных пляжных роскошествах мы и слыхом не слыхивали. Футболисты и те бегали по полю в черных сатиновых трусах до колен. Их называли по-разному — то “парусами”, то “семейными”. Такие трусы носили дома, в них щеголяли и на курортных югах. Правда, наиболее привередливые представители сильного пола, желая повообразать, подворачивали “паруса” повыше, чтобы оголить бедра настолько, насколько позволялось тогдашними приличиями. Так что добытые Вовкой трикотажные трусы, сидевшие чин-чинарем, заранее делали нас королями наступающего пляжного сезона. Но Дзюбу удручала моя хилость. Поразмыслив, он разработал для меня целую программу подкачки мускулатуры гантелями. Учитывая их отсутствие, он предложил заменить гантели утюгами. В моей коммуналке мы отыскали четыре штуки. Еще парочку Дзюба притащил из своего дома. Получалось по три штуки в руку. Вовкин комплекс упражнений состоял из ста приседаний, пятнадцати выжиманий утюгов и так до посинения. В кухне около раковины мы расчистили площадку, убрав оттуда стиральную доску и тазы с облупленной эмалью. В первый раз меня хватило на три подхода. На дрожащих от перенапряжения ногах я уныло пошелся в комнату. Там Дзюба завертел меня перед подслеповатым, в человеческий рост, трюмо. Ему хотелось, чтобы я сам попробовался на свои вздувшиеся от упражнений бицепсы. Но как он ни крутил меня, какие позы циркового атлета ни заставлял принимать — зеркало не лукавило. Был тощей макарониной, ею и остался. Однако накачку мышц решили продолжать. Мы свято верили, что через неделю, на худой конец другую, достигнем желанной цели. Наша коммуналка оказалась не самым подходящим местом для ковки идеальной пляжной фигуры. В середине следующего занятия на кухню прямо в своей пожарной прозодежде заявился сосед — старший Дедов. Не снимая пропахшую дымом брезентовую робу, не обращая внимания на нашу мельтешню с утюгами, он соорудил себе тюрю. В алюминиевую миску Дедов накрошил хлеба, добрил его чесноком, солью, подлил в миску

немножко растительного масла и затем добавил туда... чекушку водки. По его собственному выражению, чтобы "оттудобило". После тушения пожара ему требовалось загасить чем-то ядерным свой нутряной огонь. Ел он свою крошку степенно, с расстановкой, предложив и нам разделить с ним трапезу, но мы отговорились необходимостью придерживаться спортивного режима питания.

От утюгов я отупел. Толку от них никакого. Прогнивший пол на моем физкультурно-оздоровительном пятачке рядом с раковиной просел так, что соседи могли и шею намылить. Выходило по всему, что пляжный сезон на Петропавловке придется пропустить. Стыдно появляться на нем бледной макарониной. И лишь Дзюба не унимался:

— Конечно, если бы двухпудовую гирьку добыть! А может, тебе махнуть рукой на утюги и в борцы податься? Я тут на объявление наткнулся — в спортклуб набирают тяжеловесов. Ты у нас гляди какой жердиной вымахал!

Ни во сне, ни наяву я, сколько помню, борцом себя не мнил. Даже сама мысль об этом казалась мне дикой. Единственное, что можно было воспринять как некое предвосхищение моей будущей судьбы, так это художественные каракули на последних страницах школьных тетрадей, где краснозвездные танки и самолеты в пух и прах разносили фашистскую нечисть, а былинные богатыри изничтожали пришлых врагов-разбойников. В техникуме мне довелось побывать и фехтовальщиком, и лыжником, но эти секции просуществовали недолго. Тогда я загорелся волейболом. Но в команду меня не ставили, потому что лупил через сетку куда ни попадя и гонялся по площадке за всеми мячами разом, расталкивая своих же игроков. Меня из великой милости брали на соревнования в качестве запасного. Лишь однажды по какой-то причине не явился на городские соревнования игрок из нашего основного состава. И тогда, чтобы команда не схлопотала "баранку", меня выпустили на площадку. На свою беду я перестал даже таскать с собою форму. К чему мне она, если сидишь сиднем на скамейке запасных? Выручили девчонки. Они одолжили мне свою одежду. Судьи вначале запротестовали, но по формальным признакам придраться оказалось не просто: цветовая гамма нашей техникумовской команды была налицо. Ну и что из того, что сатиновые трусы у меня не мужского покроя и собраны в оборочку на бедрах, а футболка с вырезом из груди. Мое появление на площадке зрители встретили гомеорическим хохотом. Они восприняли все происходящее как нарочито шутовство. А я с горящими глазами, распахивая товарищей, бросался наперерез всем мячам подряд, спасая честь родной команды. Какое мне дело до зубокальства трибун, их хохота и свиста, мне, охваченному всепоглощающей страстью к волейболу. Матч мы проиграли. Ко мне подошел тренер. Он не ругал меня, а как-то раздумчиво произнес, адресуясь не ко мне лично, а так, в пространство:

— В борьбу тебе что ли податься, а?!

Дзюба убаюкал-таки меня, и, поколебавшись, я решился испытать судьбу.

На Фонтанке, ошалев от весны, куролесит ветер. В городе резко похолодало оттого, что расцвела черемуха, и по Неве, скрежеща, налезая друг на друга, поплыл ладожский лед. Ветер подгоняет тычками, толкает в спину, и, окрутясь, заскакивает наперед. Чтобы противостоять напору, приходится продвигаться, чуть ли не грудью ложась на него, придерживать то шляпу, то развевающиеся полы перелицованного отцовского пальто. Цоканье каблучков. Поднимаю необычную от ветра голову, вижу разодетую в пух и прах девчонку. Окидываю ее взглядом, пытаюсь придать лицу выражение видавшего виды ловеласа. Если посмотреть на меня со стороны, то и я вроде кавалер хоть куда. Шляпа велюровая, зеленоватого цвета — одна такая на весь Питер. Да и пальто, хоть и великовато, но наброшенное на плечи на манер испанской мантильи, выглядит вполне стилижно. Девица, бросив на меня мимолетом оценивающий взгляд, кривит в усмешку губы. Заметила-таки стервоза мои кирзовые сапоги. Весь гонор тут же слетает с меня. Сколько их ни ваксил, ни драил бархоткой, добиваясь ботиночного блеска, а усмотрела вредина кирзуху. Девчонки и след простыл, а мне расхотелось куда-то плестись, зачем-то записываться в борцовскую секцию. Да и примут ли?

Может, дадут от ворот поворот. Облокачиваюсь на чугунную решетку набережной. Грязно-желтая мутная вода Фонтанки вспучилась, пытаясь лизнуть подошву Аничкова моста.

Не то соринка, не то ресница попадает в глаз. Вот возьму и бултыхнусь сейчас в Фонтанку с головой, и всем моим метаниям конец. Только противно захлебнуться канализационной жижей. И я тащусь в зал, ведомый каким-то непонятым, еле различимым гласом. Он будто подталкивает меня в спину, не дает увильнуть в сторону. С набережной сворачиваю на мост, иду к цирку, за ним Манеж, под сводами которого прописан спортзал. Старушенция-вахтерша объясняет, как пройти в раздевалку. В ней не протолкнуться. Кто-то принимает душ, кто-то спешно одевается, освобождая шкафчик для другой смены. Под ногами на цементном полу решетчатые мостки, под ними натечные лужи из душевой. В воздухе пар. Меня бесцеремонно толкают со всех сторон. Наверное, за версту видать, что новичок.

— Куда сапоги суешь, салага! Спички под веки вставь что ли! Дверь в душевую закрой — пару, вишь, сколько напустили, раздолбай! У тебя есть мочалка? Дай сюда! В случай чего, оставлю ее на кране!

Стараюсь от всех этих тычков сжаться, стать незаметнее. Натягиваю на себя купленное в магазине темно-синее хлопчатобумажное трико. Наверное, в этом обличии я хоть чуточку буду похож на остальных. Куда там! Оно теплеется на моих мослах. В раздевалке парко, а меня пробирает колотун. Очки запотели. В мареве едва различаю расплывчатые торсы. У борцов толстенные, короткие шеи, не шеи, а паровозные трубы. А уши, уши-то! Смятые, похожи на пельмени. У дверей борцовского зала топчусь в нерешительности. Толстогубый верзилка с буйной негритянской шевелюрой бесцеремонно, будто пушинку, отодвигает меня в сторону.

— Ты либо туда, либо обратно! — трубит он басом.

Пугаюсь при виде эдакого битюга. Силач небрежно, по-свойски, распахивает дверь в спортзал. Оттуда на меня накатывает волна незнакомого запаха, состоящего из смеси человеческого пота, конской мочи и сырых опилок. Голова от такого аромата идет кругом. Мне хочется по-щенячьи заскулить, завилать хвостиком, чтобы приотили, чтобы не запинали здесь ногами. И, пересилив себя, вобрав полной грудью пахнувший нашатырем воздух, зажмурившись от страха, я переступаю порог борцовского зала...

И будут из меня всяк кому не лень вить веревки и обзывать мешком. Всё будет. Появится со временем сила, а с сединой и равнодушие к бицепсной накачке. Не пройдет лишь удивление перед блеклым ростком, который, пробиваясь к свету, оказывается способен ломать бетонные плиты.

Мертвая зона

Меня принимают в самбисты. Я мало что смыслю в борьбе, но само это слово звучит задиристо, почти как загадочное джиу-джитсу. Дзюба не ожидал, что я решусь податься в “борьбисты”. Но все сложилось более чем удачно. Набрался духу, переступил порог зала, никто не шутанул, вот и весь сказ.

В спортклубе на меня внимания не обращают. Разве что используют в качестве “мешка”. Вообще-то для отработки бросков в уголке валяются дерматиновые болваны, набитые отходами от пряжи. Они в человеческий рост, с растопыренными культиями — руками и своей безликостью напоминают истуканов. Их почему-то обзывают “Иван Ивановичами”. Однако на тренировках к их помощи прибегают неохотно. Болваны увесисты, не гнутся и в нужную диспозицию для отработки броска чучело просто так не поставишь. Так что на меня спрос. В благодарность меня посвящают в секреты подсечек. Бросок на непросвещенный взгляд простецкий. Ухвати партнера за отвороты куртки покрепче, мотни в сторону, да так, чтобы он потерял равновесие. И тут же подсекай выставленную вперед его опорную ногу. В отработке у меня получается коряво, но я не расстраиваюсь — куда мне торопиться, когда-нибудь все сладится само собою. А еще мне приходится упорно отрабатывать “страховку”. Если не наловчишься в группировке падать на ковер,

лучше не выходить на помост. Шваркнул так, что костей не соберешь. Одним словом, варюсь в собственном соку, потому что наш тренер Марк Гиршович, отчество которого я грешный забыл за давностью лет, себя особо не утруждает. Он раздает указания со скамеечки, видимо, считая, что не царское дело бронзовому призеру первенства страны в легком весе опускаться до мелочевки. Маркович — так мы зовем его между собой — заявляется в зал в песочного цвета пиджачке, вещичке явно заграничной, и снисходительно цедит, обращаясь непонятно к кому:

— Это не зарплата, а пособие по безработице.

Для солидности наш коуч обзавелся усиками. Он поучает нас, что каждый уважающий себя мужчина должен обладать куском ухоженной растительности. Усы заботят его больше, чем наши спарринги. Они выглядят на его матовом лице вроде нашлёпки. Непонятно, под кого косит Маркович: то ли под голливудского киногероя Дугласа Фэрбенкса, то ли под Раджа Капура, чей Бродяга вызвал у женского населения припадки обожания.

Свои занятия, памятуя отношение к борьбе в нашей семье, скрываю от родителей. Дома всех уверяю, что записался в мотоциклетную секцию. В техникуме про свое увлечение тоже молчок. Если в самбо пойдет все не так, то сокурсники, сведущие о моих волейбольных подвигах, засмеют.

В спортклубе суматоха. Вот-вот стартует чемпионат города среди юношей. А нашей команде для полного комплекта не хватает тяжеловеса. У меня опыта никакого, зато с килограммами порядок — вешу за восемьдесят. Маркович, поколебавшись, все же включает меня в основной состав. Теперь на тренировках приходится нагружаться вдвойне. А тут, как назло, на меня еще и в техникуме взвалили общественную нагрузку, предписав участвовать в подготовке ежегодного осеннего бала.

Состязания проходят в Доме культуры, расположенном между цирком и Невским проспектом. Ковер уложен на сцене. Раздеваемся в партере, наваливая одежду грудой на спинки кресел. Меня оставляют за сторожа, руководствуясь тем, что тяжки борются последними. Товарищи по команде трясутся, а мне все их переживания побоку, потому что включен в состав вроде довеска, и особого результата от меня никто не ждет. А потому я ротозейничаю. Жеребьевкой совсем не интересуюсь. Какая разница, с кем цапаться. Дожидаюсь Дзюбы. Приятель учится на мастера-ремонтника холодильных установок. Сегодня у него уйма занятий, но он обещал увильнуть от них, чтобы поболеть за меня.

В партере тянет сквознячок. Набрасываю на плечи куртку. Нет-нет, да поглядываю на сцену. Отчего-то на меня нападает сонливость. Спать вроде не хочу, а рот сам собою раздирается до ушей. Скулы так и воротит. Постепенно меня разбирает любопытство. Наконец-то вижу не тренировочные тяни-толкай, а настоящие схватки.

Судья-информатор на весь зал чеканит фамилии очередной пары самбистов:

— В красном углу ковра... спортивное общество “Труд”... первый юношеский разряд... в синем углу... приготовиться...

Арбитр дает свисток, соперники, поздоровавшись в центре ковра, минуют друг друга, делают по ходу движения еще по два шага и, развернувшись, принимают боевую стойку. Каждая последующая пара в точности повторяет этот ритуал...

У меня еще уйма времени до вызова на ковер. Выбираюсь на свежий воздух, в сквер рядом с Домом культуры. Хочется пораскинуть мозгами, а то башка от гвалта раскалывается. Сквер устлан багряной листвой, щедрыми дарами бабьего лета. Если брести, загребая ее ногами, то она тянется за тобою шуршащим лисьим хвостом. Чуть не сминая каблуком стрекозиное крылышко кленового семечка. Сентябрь оставил от него лишь сеточку из прожилок. В пионерии, верные заветам Вождя, мы немало насобирали их, а еще желудей, стручков акаций, сливовых косточек — для сталинских лесополос. Ими ограждали пахоту от суховеев. Впрочем, меня заносит явно не туда. Ну, поручкаюсь с противником, разминусь с ним. А может, пошустрей прошагать “слепую” зону и, пока он то да се, взять и нарисоваться перед ним эдакой

сивкой-буркой, вещей кауркой, пар из ушей, огонь из ноздрей! Фу-ты! Бредятина какая-то! А вдруг выгорит! Откладываю решение на потом. Лучше о схватке вовсе не думать. Вот вернусь после соревнований домой и уговорю отца поступиться своим костюмом. Он у него единственный, на все случаи жизни. Батя, при своей застойной, кабинетной работе, убергая от износа пиджак, надевал сатиновые нарукавники, чтобы локти не протирались. Костюм местами, конечно, залоснился. Не беда, утюжком пройдуся, отпарю, вот и буду выглядеть ништяк. Тем более что шит он из добротного сукна коричневого цвета, и полосочки у него в елочку. Мне костюм великоват. Особенно брюки. Но если их зашпилить булавкой в поясе, а затем подцепить на подтяжки, то никто ничего и не заметит, фокстротничай хоть целый вечер, не свалятся. Если дело выгорит, то надену бордовую рубашку из вискозы. Она давно дожидается своего часа. Я все, разумеется, примерил заранее. Надел костюм, рубашку, повязал припасенный для такого случая кремового окраса галстук. Посмотрелся в зеркало — смахиваю на стилиягу. Мне бы только поднабраться всяких их выраженьиц: “чухиха”, “фарца”, “лабать”, “шузы”, и тогда можно пригласить на медленный танец саму Ритулю. Только бы не ступешаться! Впрочем, чего разводить турысы на колесах, закончится турнир, тогда и посмотрим...

Пары за три до своего поединка пробираюсь за кулисы. Там декорация на декорации, зато никто не подсматривает за моей разминкой. Разогреваюсь по науке: приседаю, кручу коленками, кистями, тру уши, верчу тазом, сажусь в разножку. Имитировать подсечку приходится рядышком с бюстом Ленина. Подслеповатый свет отбрасывает на лицо Ильича тени, и от этого гипсовое изваяние словно оживает. Похоже, что Ильич с прищуром вслушивается в странный гам, явно не революционный, доносящийся к нему из зала. Сквозь шум едва улавливаю свою фамилию. Спешно выбираюсь из тайника на сцену. В противоположном углу ковра мнется соперник. Успеваю разглядеть его: белесая дылда с прыщавым лицом. У нас на Лиговке такие возрастные язвочки зовутся хотимчиками. Мне бы на него разозлиться, чтобы сподручнее было драться. В дворовых стычках получалось, а тут, сколько ни пыжусь, злобы ни капельки. По судейскому свистку сходимся на середине ковра. Здороваемся. Попав в мертвую зону, я стремительно разворачиваюсь и подкатываюсь под ноги белобрысого. Обернувшись, он на какую-то долю секунды потерянно замирает, потому что я, в полуриседе, турнул его в колени. От моего наскока он плюхается на ковер. Судейский свисток не заходится в запретительной трели, значит я могу развить атаку...

Все дальнейшее помнится смутно. Мы, наскაკивая друг на друга, рычим, сопим, бодаемся, вцепившись в куртки. Вместо того, чтобы делать подсечки по-научному, просто лягаемся. Белобрысый, наверстывая упущенное, прет рогом. Едва успеваю увертываться от его наскоков. Мне явно не хватает дыхалки, и он вот-вот доберется до меня...

Звучит финальный гонг, но в запале я не слышу его! Арбитр силком сводит нас в центре ковра и вздергивает мою руку вверх. Всего на какую-то крохотулю, четвертушку балла, но я обошел белобрысого.

Потный, взъерошенный, не совсем осознавая, что же на самом деле произошло, сползаю со сцены. На меня наваливается Дзюба. Он дубасит меня кулаками по спине. У него с недавних пор это вошло в привычку. Приятель решил, что если я причислен к тьякам, то любые тумакки мне теперь нишечем. Вокруг кучкуются все наши.

— Ты! Прошлогодного чемпиона отволтузил!

У меня ёкает сердце. Ляпни кто-нибудь о его титуле заранее, перетрусил бы насмерть. Так неведение спасло меня от срама.

Обозначается Маркович. Обняв за плечи, уводит меня подальше от всех, в вестибюль. Прохаживая словно взмыленного жеребца после забега, тренер косится на меня с плохо скрываемым удивлением. Оказывается, его очень заботит мое житье-бытье. А что в нем особенного. Всё как у всех. Живу в коммуналке. Из еды: борщ, картошка, квашеная капуста, макароны по-флотски, а на сладкое взвар. Вижу, что слово “взвар” Марковичу непонятно. Разъясняю, что это похоже на столовский компот, только гораздо

наваристее, потому что настояно на сушеных вишнях, грушах, черносливе, яблоках и терне.

Известие о моей победе вызывает у родителей удивление. Отцу только теперь становится ясно, куда это я пропадал вечерами. Он недоверчиво крутит почетную грамоту. Прочитав вслух все, что в ней написано, батя одобрительно хмыкает. И тут же недоуменно смотрит на меня. Оказывается, на документе не проставлена печать. Ему надо, чтобы все было чин по чину, как в его бухгалтерских отчетах. Не мешкая, достаю из фибрового чемоданчика, атташе-кейса тогдашней поры, свой приз — новехонький лыжный костюм из коричневого вельвета в рубчик. Обновке рады. Она не моего размера, зато вполне сгодится для брата.

С балом вышла накладка. Его перенесли на весну, приурочив к Пасхе. Мы толком не разобрались, зачем понадобилась перетасовка. Самый ушлый из нас, Витька Маврин, растолковал нам: чтобы такие, как мы, пентюхи не потащились в церковь, глазеть на крестный ход. Несмотря на сдвижку, весенний бал удался. Жаждающие приобщиться к джазу брали техникум на абордаж. Вот только к красавице Ритуле я так и не дерзнул подступиться. К ней и без меня выстроилась целая очередь ухажеров. Но, кружась в вальсе, она несколько раз со значением посмотрела в мою сторону. Думал черкнуть ей записочку. На наших танцульках всю работу почта. Каждому выдавался номер и, высмотрев девчонку поинтереснее, можно было через письмоносца послать ей записку в надежде на ответ. Мне передали цидульку, в которой незнакомка с восхищением отозвалась о моем римском профиле. Я разобиделся, не имея понятия, что сие означает. Ответ мой был лаконичен:

— А на твоём лице черт горох молотил!

На том обоюдный обмен любезностями и закончился.

Я брел по пустынным улицам, пытаюсь разобраться в собственных переживаниях. Надо все же было набраться духу и пригласить Ритулю на танец, а потом в “Лягушатник”. Свое прозвище это популярное среди нас кафе на Невском получило из-за интерьера: травянистого цвета обоев, пуфиков, обитых зеленым плюшем, и внушительных размеров аквариума. Но его привлекательность заключалось не в этом. Всего за трешку в нем можно было заказать себе и даме по коктейлю с интригующим названием “Шампань-коблер”, по вазочке мороженого и по чашке турецкого кофе. Сколько в ту “шампань” нацеживали “коблера”, никого не интересовало. Главное, что этот “изысканный” набор позволял ощущать себя кавалером. Опасаться нужно было лишь того, чтобы твоя пассия ненароком не разохотилась и не превысила лимит. Ритуля, если соблаговолит пойти со мною в кафе, наверняка зафорсит и попросит официанта полить порцию мороженого не вишневым вареньем, а необычным, зеленоватым, с запахом сосновых побегов. А я замечу ей, что его готовят из сухумских фруктов “фейхуа” и что это название запомнить проще простого, так как оно схоже с наименованием главной китайской газеты “Синьхуа”...

Пребывая в грезах, я и не заметил, что очутился у Казанского собора. Лучи восходящего солнца пронизывая анфиладу колонн, подчеркивали их органную стройность, позолотили крылья грифонов на горбатом мостике чуть позади собора и придали пасхальную красочность маковкам храма Спаса на Крови. Город досматривал предутренний сон, и я казался себе единственным свидетелем рождения дня, если не считать шофера поливальной машины, которая, пофыркивая моржовыми струями, умывала Невский проспект.

Виноград... вино... и Солнце...

В спортклубе творится невообразимое. Исчез Маркович — испарился! Был и сплыл, вместе со своими холеными усиками, словно нашего тренера никогда и не существовало. Много позже кто-то рассказал, что его уволили за “излишне частое общение с иностранцами”. Но он не сгинул, а кружными путями добрался-таки до Брайтон-бич. Предоставленные самим себе мы, погоревав, разбрелись кто куда. На меня навалились госэкзамены. Они

требовали усиленной подготовки. А потом возникла возня вокруг распределения. Ленинградцев не трогали. На них оборонные предприятия города прислали свои заявки заранее. А вот иногородним приходилось туго. Они разбегались кто куда. Среди наших бунт поднял Генка Рожин, мол, чего это питерцы пропиской прикрываются. С ним согласился Витька Маврин. Мы долго судили-рядили, куда нам вместе податься, и сошлись на том, что надо проситься в Молдавию:

— Винограда там завались, теплынь, винище из бочек прямо в пивные кружки цедают, ну и женский пол — страстней не бывает! — похвалялся своими познаниями о южном крае наш бывалый староста.

Понятно, что от предвкушения вольной жизни наши мозги съехали набекрень. Комиссия хоть и со скрипом, но решила отправить нас в Бельцы, на номерной завод. Мои сборы сопровождались родительскими стенаниями. Но кто в семнадцать лет обращает внимание на такую мелочь? Готовясь к поездке в Молдавию, я принарядился согласно последним веяниям питерской моды. Мой новехонький пиджак был сшит из ткани ослепительно бирюзового цвета. Портной в ателье вначале решил, что к нему пришли заказать дамский жакет. На брюки в дудочку денег не наскреблось. Но чтобы выдержать общую линию, я приобрел гимнастические труники. Дзюба раздобыл у фарцовщиков корочки — ботинки с замшевым верхом, на “манной каше”, пружинящей подошве из какого-то каучуку подобного материала. Обозрев обновы, приятель съехидничал:

— Не хватает галстука с обезьяной на пальме. Нарвешься на дружинников, они твои дудочки мигом расклевшат.

Наезд Дзюбы меня задел. Раньше мы понимали друг друга с полуслова, а тут вроде кошка какая-то между нами пробежала. Может он и прав! Видок у меня слегка попутанский. Но в каждом попугае есть что-то от Наполеона и в каждом Наполеоне от попугая.

Вся авантюризм нашей молдавской эпопеи проявилась буквально через несколько дней по приезде в Бельцы. Возвращенные полноводной Невой, мы обнаружили здесь речку-переплюку и три озерца: Кирпичное, Комсомольское и Городское. Одни их названия говорили сами за себя. Не вешая тем не менее носа, мы решили с размахом отметить нашу свободу, благо располагали подъемными. Рядом с базаром мы набрали на забегаловку из крашенной синькой фанеры. Несмотря на различные климатические зоны, они везде выглядели однотипно. В народе их почему-то ехидно прозвали “голубыми Дунаями”. Более солидные заведения, возведенные из кирпича, в Питере именовались “дотами Маннергейма”. Буфетчица, она же и официантка, мы как-то сразу не приглянулись. И от вертуте с тыквой нос воротим и от плагинды отказались, заказав самое дешевое блюдо — мамалыгу. Официантка особо взъелась на нас после того, как Генка Рожин попросил ее принести свежего пивка.

— Пиво теплое, — холодно парировала она.

— Тогда пуганите тараканов, которые шастают по столу.

— Это не нашеньские, — как ножом резанула буфетчица, — своих прищипали, сами и гоняйте!

Генка завелся:

— Не отвертитесь! Смотрите, они одеты в тугошние национальные костюмы!

Перепалка приняла необратимый характер. Оскорбленная официантка удалилась в подсобку и затрындела по телефону что-то непонятное нам. В тот момент, когда Витька Маврин потребовал от нее жалобную книгу, чтобы настрочить заявление на мух, облепивших недоеденный им кусок мамалыги, в забегаловке нарисовался мильтон. Он полубоштытствовал, каким ветром нас занесло в Бельцы, проверил наши паспорта и выпроводил из забегаловки. Свежевыпеченную лепешку и молоко мы купили на рынке и тут же все умяли, ни чуточки не сожалея о случившемся. Однако через неделю в заводскую общагу нагрянул вооруженный патруль. Рожина и Маврина доставили в горвоенкомат под конвоем. Шел осенний призыв в армию, и их загребли до кучи. Так что мне самому пришлось налаживать свой быт.

В общежитии мне как молодому специалисту выделили клетушку, в которой помещались железная кровать, тумбочка и табуретка. Завхоз из казенного имущества выдал под расписку ватный тюфяк, подушку с наволочкой, две простыни, застиранное вафельное полотенце и тонкое байковое одеяло. На заводе рядили-гадали, куда меня пристроить без ущерба для основного производства. На первых порах доверили секундомер и поручили фиксировать в журнале синхронность вспышек проблесковых маячков на речных буях — побочной продукции номерного завода. Через неделю я взбеленился от вспышек, от всепроникающей пыли, испепеляющего зноя, гор болгарского перца на рынке и вина, которое на всех городских перекрестках нацеживали в любую емкость из бочек-прицепов. В меру моего тогдашнего понимания эта кислотина вчистую проигрывала общенародно любимому портвейну “777”. Что же касается темпераментных представительниц слабого пола, то и тут меня ждало полное фиаско. Дело в том, что никто, никогда, даже под страхом смерти не мог заставить меня самого познакомиться с девчонкой, тем более на улице. Оставалось одно — бомбардировать ленинградский спорткомитет телеграммами со слезной просьбой вернуть меня на берега родной Невы...

Что же касается “мертвой зоны”, то к этому трюку я никогда больше не прибегал. Изменились правила, повзрослел, да и понял, что вместо мелких ухищрений на ковре лучше включать мозговую соображалку. Борьба это блиц-шахматы. В нашем виде спорта некогда тугодумничать, у нас все соткано из мгновенных решений.

Капитан-лейтенант

В Питере вняли моим жалобным молениям. Расставание с Бельцами прошло безболезненно. Заводу и задарма не нужны были спецы, подобные мне. Спешить-то я спешил вернуться обратно, но брата дома и не застал. Его тоже призвали в армию. Сосед по коммуналке пристроил меня в номерной проектный институт. Он размещался в особняке на Фонтанке, недалеко от Аничкова дворца. Меня причислили к отделу, который готовил техническую документацию для строительства радиоэлектронных предприятий в КНДР. Мною руководила целая бригада инженеров, из которых Петров и Иванов оказались евреями, а Евреинов и Абрамов русскими. У них я был вроде мальчика на побегушках. За этим отделом, из молодых-необстрелянных, значился еще Асманов. Судя по его скуластости и разрезу глаз, он был явно татарских кровей. Однако ятаганный загиб носа заставлял подозревать, что в тщедушном теле Арсена бродят еще и армянские гены. Принимая во внимание мое хохляцкое происхождение, наша проектная группа оказалась в институте самой многонациональной.

Нашему отделу поручили подбор для китайских радиопредприятий металлорежущих станков. Следуя бюрократической логике, что все самые ответственные задания на производстве в случаях их государственной важности следует поручать работникам самого низового звена, его выполнение легло на наши с Асмановым плечи. Нас снабдили толстыми каталогами оборудования, производимого в китайских краях. В иероглифах никто из нас ничегошеньки не смыслил, поэтому мы подбирали станки по фотографиям. Особенно туго нам приходилось в последнюю декаду месяца, когда весь отдел, памятуя о премиальных, вскипал трудовым энтузиазмом. Мы, следуя общему порыву, тоже аврально выдавали наверх вороха бумаг. Наверное, из-за этой сумбурной спешки, помноженной на наше дремучее невежество, запуск “Нефритового зайца” на Луну китайцы смогли осуществить лишь полвека спустя, в декабре 2013 года.

В спортклубе тренировки то отменялись, то возобновлялись. И я оказался на перепутье. То ли забросить самбо и всерьез взяться за музыку, то ли еще погодить? А тут, как на грех, профком подкинул деньжищ на инструменты для духового оркестра. На самом-то деле мы под шумок собирались организовать свой джаз. За мной закрепили новый, ослепительно сияющий саксофон и разрешили подудеть в него и даже понажимать клапаны. Еще миг,

и прости-прощай моя борьба навеки. Однако, оказавшись без присмотра, я нет-нет, но все же, по собственной инициативе, выступал на открытых соревнованиях. Их в летнюю пору, по воскресеньям, обычно проводили на Кировских островах, где меня и присмотрел тренер по вольной борьбе Корнилов Виктор Гаврилович.

Приземистый, жилистый, стриженный под полубокс, он с первых же шагов взял меня в оборот, заставляя на каждой тренировке отжиматься, подтягиваться на перекладине, поднимать гири, взбираться по канату, непременно держа ноги уголком. И все это под бдительным оком его самого или супруги Марии Петровны. Она по мере надобности подменяла мужа на занятиях. Усаживаясь с вязаньем рядышком с ковром, Петровна, сноровисто орудуя спицами, щедро сыпала замечания, подражая своему мужу:

— Руку не выкручивай... коленочки подсогни... пяточкой его, пяточкой.

Их семейный подряд никого не смущал. В нем не было и грана корысти. Просто жена, постоянно пребывая с Гаврилычем на сборах, помогала ему как могла. Корнилов буквально дневал и ночевал на ковре. Но в своем азарте он стриг под одну гребенку и меня, блокадника, и остальных учеников, всех словно на подбор качков-крепьшей. Они играючи жонглировали пудовиками, а я, бедолага-хилjak, с ними мучился. Гаврилыч вначале пытался понукать меня, но затем махнул рукой, то ли посчитав меня сачком, то ли не желая тратить нервы на приبلудного самбиста. Зато на ковре я отыгрывался. Каждый норовил пройти мне в ноги. Но я не горбился! Ведь в самбо выше всего ценилась прямая стойка. Поэтому свой самбистский стиль я не стал поганить и подсечками.

Про хрущевские разоблачения “Вождя и Учителя” мы и слыхом не слыхивали. Да и откуда было чему взяться, если сам тот секретный доклад держали под семью замками. Вот когда взбунтовалась Венгрия, то вся наша семья испереживалась за брата. Перебросят его дивизию в Будапешт или оставят в Эстонии? Хватало и спортивных треволнений. Едва успели нарадоваться золоту наших лыжников и конькобежцев на зимней Олимпиаде в итальянском горнолыжном курорте Кортина-д’Ампеццо, как нас захлестнула подготовка к Спартакиаде народов СССР.

В самом начале июля всех стоящих борцов собрали в Манеже. К их числу по чьему-то хотению причислили и меня. Тренеры утрясли состав команды, раздали талоны на питание и объявили дату отъезда в Выборг, место проведения сборов. Для порядка у всех проверяли вес. Дошел черед и до меня. Небрежно взгромождаюсь на весы, считая эту процедуру простой формальностью. Чего за тяжелоуловов-то беспокоиться? Мы не сгонщики. С другой стороны, взяло любопытство, сколько же у меня за лето нащелкало. Оттого и удивился, услышав: 95 кг! Не ожидал, что наберу такого лишку, и на лиговский манер бражаю тренеру, проводившему взвешивание:

— Брось трепаться-то!

По мгновенно повисшей в зале тишине почувствовал, что ляпнул не то, не тому и не в том месте. Только тут я увидел глаза человека, которого обложил чуть ли не матом. Передо мною стоял блондин в небрежно наброшенном на плечи черном кителе морского офицера. Он в упор разглядывал меня. В его взгляде сквозило нечто такое, что обдало спину ледяным холодком.

Никакие ангелы ни в какие серебряные трубы ничего не протрубили, и никто не известил меня, что судьба моя предопределена на многие лета вперед. Пробормотав в свое оправдание что-то нечленораздельное, я быстроухонько убрался в раздевалку, опасаясь, что меня комиссуют за нахальство, и тогда не видать мне спартакиадных сборов как своих ушей. Торопливо одеваясь, узнаю, что нахамил самому Преображенскому, главному тренеру сборной города. Ребята сочувствуют мне:

— Ну, ты и отмочил! Заруби на носу: меж нами он Серега, но на людях только Сергей Андреевич!

Вороша прошлое, понимаю, что мое трепетное отношение к Преображенскому зародилось именно в тот момент в Манеже. Подействовал скорее не его гипнотический взгляд, а что-то другое. Наверное, роль спускового механизма сыграл черный китель. Мне никуда не убежать от своих детских

воспоминаний: того солнечного, до рези в глазах, утра, заснеженного поля и цепи краснофлотцев, в черных бушлатах, тащивших нас, блокадных заморышей, на закорках.

В Выборге размещают в общеобразовательной школе, прямо в классах, освобожденных от парт. Разобравшись с кроватями, разложив по тумбочкам свой незатейливый скарб и наскоро перекусив, мы отправляемся в город. Выборг впечатляет своим финским флером, кладкой крепостных стен островного замка, бронзовым памятником Петру, рынком готической архитектуры и зданием гарнизонной гауптвахты. Преображенский, организовавший экскурсию, приберег для нас сюрприз. Оказывается, он договорился с командиром отряда сторожевых катеров, и те подогнали к причалу настоящую шлюпку. Распределясь по банкам, мы вразнобой заворочали почти галерными веслами. Наловив ими “лещей”, мы вскоре приноровились и более или менее слаженно выгребли в залив. Руки после морской прогулки у нас задубенели, поэтому прогулка по парку показалась нам развлечением. Мы всласть поблуждали в Монрепо среди высоченных сосен, ползали по скалам в лишайных разводах, до оскомины объелись черникой. Возникло ощущение, что я вернулся в свое детство в Каарлахту.

Наши тренировочные будни начались с того, что меня по чьему-то недосмотру подставили самому Прутковскому. Грузный, успевший обрести солидное пузцо, Борис кичливо носил на лацкане пиджака золотую медаль чемпиона страны, завоеванную им в позапрошлом году. Внешне она сходилась за лауреатскую награду и помогала ему в решении разной бытовой мелочевки. Прутковский хрипотцой своего голоса, раскатанными губищами и непролазной курчавости шевелюрой походил на Луи Армстронга. У него разве что цвет кожи был посветлее, чем у американского певца. В отсутствие кого-либо из старших именно Борис верховодил нами. Он был охоч до всяких дамских похождениям и со смаком рассказывал нам подробности своих волокитств. Его мог стреножить только Сергей Андреевич, который, делая вечерний обход, обрывал его любвеобильные историйки на полуслове.

После разминки Прутковский лениво пошвырял меня. Я особо и не противился, понимая, что мне отведена роль тренировочного мешка. Ну, а когда начался пуш-пуш, не то схватка, не то примитивная возня, он, видимо, захотел как следует погонять меня по ковру швунгами — разновидностями оплеух, чтобы я раз и навсегда запомнил в команде свое место. Он полез нахрапом, и я с перепугу хлобыстнул его через спину. Прутковский врезался в стену спортзала, чуть не снеся ногой батарею парового отопления. Та аж загудела от такого удара. Переполох поднялся знатный. К пострадавшему поспешил Преображенский. Помял ушибленный голеностоп, покрутил его туда-сюда и сыронизировал:

— Большой шкаф всегда громко падает.

Обращаясь к набезавшим помощникам, он, указывая на меня, потребовал:

— Этого с Борисом не ставить. Чего доброго, пальцем в глаз заедет. Молодой, необученный, чего с него взять?

И, обращаясь непосредственно ко мне, поинтересовался:

— Это тебя что ли во дворе Мишкой дразнили? Подходящее прозвание!

После тренировки Сергей Андреевич подозвал меня к себе и уточнил:

— Блокадник? — Поняв по кивку, что угадал, отчеканил: — С гирями не частить, штангой не нагружаться. Возни на ковре на первых порах с тебя хватит, а там посмотрим.

На сборах я обзавоюсь друзьями. Мне особенно нравилось отрабатывать приемы с Анатолием Албулом. Год назад, на первенстве страны, Толя, несмотря на молодость, стал вторым в полутяжелом весе, притом ничуть не зазнался. Анатолий то и дело устраивает мне на ковре “день авиации”. Это когда ты летишь после броска вверх тормашками и, не успев приземлиться на ковер, вновь оказываешься на “втором этаже”. Завороженный его мастерством, я не держу на него зла. В нем меня подкупает все: и его атлетическое сложение, и даже привычка постоянно поправляет свою шевелюру-разлетаюку. Он очень дорожит своим причесомом, тем более, что волос у Анатолия осталось всего-то на одну драчку. Из-за своей стеснительности

Албул держится несколько в стороне от моих новых товарищей: Ленки Колесника и Юры Тинькова. Почуввав легкую добычу, они мордуют меня в партере, выют из меня веревки в стойке и гогочут, приметив, что ребра у меня просвечивают на спине. Комичность ситуации заключалась в том, что легко-весы изгалялись над тяжем, а не наоборот. А еще я развлекал их своей гуттаперчевостью. По-йоговски заложив ногу за шею, я умудрялся, подпрыгивая на пятой точке, проскакать весь ковер по диагонали. Прежде всего я сдружился с Лёхой. Смуглый, с внешностью степняка, в обиходе не гневливый, он перед поединком, заводя себя, чернел от злости на соперника. На Сенной площади в витрине фотоателье красовались поясные портреты самых титулованных борцов города с муаровыми лентами через плечо, увешанными медалями и значками всех мастей. Нашлось там место и Лехе. Фотограф, заядлый болельщик, изрядно подретушировал его. Но Колесник и сам был не промах. Фотографируясь, он исхитрился втянуть в себя воздух так, что крылья его широковатого носа слиплись. Отчего на портрете Леха выглядел просто суперменом. Разумеется, он назначал свидания своим зазнобам на Сенной непременно у витрины “своего” фотоателье.

Кормили нас на трешку в день. Первым номерам причиталось по рублю сверху. На завтрак полагались три прозрачных лепестка нарезанного еще с вечера сыра, махонький кубик масла, пара кусочков сахара. Ломтики сыра от жары изгибались, будто намереваясь взмыть с тарелок ввысь, а на оплывшем брусочке масла просматривались папиллярные узоры пальцев раздатчицы. К этому набору чаще всего добавлялась овсяная каша, бутылка кефира на двоих и стакан кофе “из ведра”. Оно делалось тогда во всех общепитовских столовках страны по единому рецепту. Консервным ножом вскрывались банки со сгущенным кофе. Их содержимое отправлялось в хромированный бак ведерной вместимости с кипяченой водой, где все перемешивалось деревянной скалкой. В итоге получалась тепловатая, приторно-сладкая жидкость торфяного цвета. Натыкаясь в модных в ту пору романах Ремарка на эпизоды смакования его героями кофе, я приходил в недоумение. Какие там дурманящие ароматы, какое там послевкусие!

Вместе с нами столовались марафонцы. Они поутру всем кулинарным изыскам предпочитали овсянку. Едва за ними закрывалась дверь, как мы сметали с их столов все остатки подчистую, не обращая внимания на этическую составляющую нашего разбоя. Обычно я засиживался в столовке до победного, надеясь на благосклонность поварих к парням нестандартного размера. Улучив момент, к моему столику подсаживался наш бирюковатый массажист, которому было под полтинник. Выглядел он странновато: тощий, лысый, какой-то снулый. Больше всего меня напрягали его веки, лишённые ресниц. У него пошаливала печень, и, соблюдая какую-то свою особую диету, он тщательно очищал от скорлупы сваренные специально для него вкрутую яйца. Потом бережно выковыривал чайной ложечкой желтки и откладывал их на край тарелочки. И только после всех этих хирургических процедур массажист с видимым вожделием съедал белок. Перекусив таким образом, он начинал свои поучениям:

— Разве раньше так нас гоняли?! У вас ведь сплошной цирлих-мырлих. Все по науке. А нас тренер приведет под вечер на кладбище, загонит на деревья и заставляет сигать с ветки на ветку, да с подвывом, по-волчьи, чтобы и самому, и прохожим было страшнолюдно. Опять же, сырой свеклой кормили. Она от синяков лучшее средство. А вообще, паря, жизнь — штука сложная. Представь, что выгребаеться на лодке против течения. Напашешь-ся, захочешь передохнуть, а бросить весла не можешь. Только их сложил, глядь, а тебя сволокло назад, да пониже прежнего. Нюни, милок, не распускай, знай, гребь. Придет пора, все окажемся, где надо, и тогда и наотдыхаемся — вплоть до второго пришествия.

Почему он выбрал именно меня для своих философских правоучений, до сих пор понятия не имею. В другой раз, подсев за мой столик, он ни с того ни с сего вернул:

— Еды должно быть много, но невкусной, и плшой на наставления вроде “мойте руки перед каждым приемом пищи”. Организм, не совладавший

с примитивными микробами, не заслуживает право на земное существование.

Под занавес спартакиадных сборов Сергей Андреевич завел со мною разговор по душам: “Подайся в институт физкультуры. Там все твои дружки учатся. Кстати, откуда у тебя фамилия на “цкий”? Я “злякался” от его прямого вопроса. Заполняя всевозможные анкеты, всегда писал, что родители у меня служащие. Тренеру так и ответил, памятуя наказ отца: о корнях не распространяться.

На Спартакиаде народов СССР в общекомандном зачете верх одержали ленинградцы. Когда на закрытии Спартакиады шеренга питерцев появилась на стадионе, зрители встали и зааплодировали блокадникам, добившимся победы. Ребята шли, чеканя шаг, и у многих на глазах навернулись слезы.

Питерские “вольники” обошли всех соперников, и в этом им помогал убойный прием — “мельница”, изобретенный Серегой. Кстати, наш играющий тренер сам завоевал серебро. Именно тогда в борцовских кругах и заговорили о необычайной капитан-лейтенантской борцовской школе...

Эх, чавела!!!

У каждого крещеного человека есть свой ангел-хранитель. До поступления в инфизкульт я не подозревал о наличии своего собственного небесного защитника, уповая лишь на помощь Лёньки Колесника. Он перешел на второй курс, зная все ходы и выходы еще и потому, что его сестра преподавала в институте физиологию. Долговязая, с носом уточкой, она походила на валенок, если бы не ее серые глазищи. Сестра засиделась в старых девах, чему в немалой степени способствовала ее работа над кандидатской и общественно-профсоюзная нагрузка, и давно смирилась со своей участью. Но однажды ей привиделся сон, которому из-за своей идеологической подкованности не придавала значения. Она увидела себя на поляне. Из чащобы вышел старичок и, не доходя до нее шага два, остановился: “Знаю, тоскуешь по суженому! Не кручинься! Все сбудется! Хочешь на своего жениха посмотреть?” Старичок растворился в чащобе, словно его и не было, а навстречу ей из леса вышел парень, любо-дорого глядеть. О своем сне-наваждении она вспомнила через полгода, томясь в очереди за билетом на вечерний киносеанс. В сторонке неприкаянно мялся мужчина. Она чуть не задохнулась от сознания, что он тот самый, из ее грез, и что он сейчас решится и подойдет именно к ней. Все так и случилось. Робея, он попросил купить ему билет в кино. После их свадьбы ее муж-биохимик, оказавшийся тогда в Питере проездом в Ригу, влился в преподавательский коллектив института.

Ректор старейшего физкультурного вуза страны имени Лесгафта Дмитрий Павлович Ионов, будучи в прошлом неплохим спортсменом, хлебнув сверх меры окопного лиха под Ленинградом, иногда забывался и обращался к студенту со словами: “Милостивый сударь!” Он выделил молодежи нам крохотную комнатенку над аркой, из дугообразного окна которой отлично смотрелась скульптура Петра Францевича Лесгафта — родоначальника отечественного “физкультурия”. Молодожены многих приводили в недоумение. Она неказистая, а он плакатный прибалт. Они вроде не подходили друг другу, но с каким обожанием латыш смотрел на свою избранницу. Детей у них не случилось, и Лешка был им вместо сына, чем охотно пользовался: столовался у них, отсыпался днем на их койке и запросто ручкался с преподавателями всех кафедр института подряд. Так что в его лице я заимел очень надежного покровителя...

На медосмотре у меня выявили букет болезных недугов: близорукость, сколиоз и плоскостопие. Естественно, среди членов приемной комиссии зазвучали голоса, что с такой симптоматикой мне не осилить ни бег, ни коньки, ни лыжи. Колесник, напросившийся в комиссию добровольным помощником и сновавший для вида со всякого рода бумаженциями то туда, то сюда, будто невзначай обронил, что в сборной города за неутомимость меня прозвали лосем. Это было сущей правдой. В итоге медицинский барьер был преодолен. С грехом пополам разобравшись с общеобразовательными дисциплинами, я приступил к сдаче не менее важных спортивных экзаменов.

В бассейне требовалось проплыть полтинник, на стометровке — уложиться в 12 секунд, а на гимнастике, помимо прочего, продемонстрировать “склепку”. Температура воды в плавательном бассейне равнялась четырнадцати градусам, что заставило меня развить бешеную скорость. Со спринтом вначале не заладилось. Но Леха смекнул, в чем дело:

— Ты не под ноги себе смотри, а на финишную ленточку.

Последовав его совету, я уложился в норматив.

Из всей фехтовальной братии я теснее всего сошелся с Борей Мельниковым. Сближало блокадное прошлое. Выживая, он с братишкой отыскивал книги, проложенные прозрачными листиками рисовой бумаги. В дореволюционных фолиантах так предохраняли от порчи красочные иллюстрации. Они вырывали тонюсенькие листочки из книг и варили из них некое подобие кашицы. В подростковом возрасте Борю выбраковали из секции за тщедушность. Но мальчишка упрямился и попросил тренера разрешить ему отрабатывать технику в сторонке от всех. Оттачивая выпады в уголке, он про себя повторял магические слова команд: “Эд ву пре... анкор эн мэтр... апрэ альт”. Годы спустя золото Токио стало ему наградой за его отчаянное упорство...

Пловцы, руководствуясь своими рыбьими навыками, вели стайный образ жизни. Они частенько забавлялись тем, что изводили расспросами брассиста Борьку Смирнова. Картинный, рослый, с голливудской улыбкой, он обожал бахвалиться своими победами над женским полом.

Штангисты, не в пример прочим, ходили порознь и выделялись из общей массы студентов моряцкой походкой враскачку, руками враспыхрычку и пиджачными шлицами на отлете, потому что пятые точки у них были необычайной крутизны.

Легкоатлеты тренировались в основном на вольном воздухе. Мы с ними редко совпадали. Но когда такое случалось, борцы сворачивали головы, пытаясь хотя бы издали повосхищаться копьеметательницей Эльвирой Озолиной. По институту бродили упорные слухи, что ее готовят на мировой рекорд. Конечно, и это подогревало наш интерес к ней. Но тоненькая черноволосая девчонка с газельими глазами завораживала нас, увальней, прежде всего своей грациозностью. Вот она разбегается, и перед тем как вложиться в бросок в пружинистом скоке... втором... третьем... зависает над землей... Может показаться странным, но подглядывая за ее “душой исполненным полетом”, мы не испытывали к ней какой-то особой чувственности. По-видимому, спорт исподволь приучал нас прежде всего ценить эстетику движения. Много лет спустя мне довелось столкнуться с ней лицом к лицу в Гурзуфе. В блаженном состоянии отпускника я лениво взирал на заходящее солнце, которое, цепляясь за плоскогорье яйлы, как бы зависло над ней. Уловив миг, веретенца кипарисных теней легли на воду и, слившись в частокол, потянулись к Адalaraм, торчащим из залива верблюжьими горами. Еще миг, и скалы покрылись пепельным налетом. Облачко, закутавшее вершину Медведь-горы белой чалмой, зарделось от закатных лучей. Хруст гравия вернул меня к действительности. По пляжу, вспугивая бакланов, брела молодая женщина. Птицы, лениво взмахнув крыльями, описывали полукруг и опускались на гальку у нее спиной. Брезгливо отряхнув перепончатые лапы, они прилаживали свои клювастые головы на вздутых зобах и впадали в прежнюю сытливую созерцательность. Женщина пошебуршила в гальке, высккивая плоский гольш. Изготовясь, она хлестко запустила камешек в море. Барражируя над поверхностью моря, гольш срикошетил раз восемь-девять и, клокнув на последнем “блине”, скрылся в глубинах. Несомненно, это была Эльвира Озолина. Оказывается, ее тоже пригласили в “Артек”. Я напросился к ней в гости. После выступления перед пионерами мы остались сидеть у догоравшего костра. В разговоре выяснилось, что в Ленинграде мы оба жили на Лиговке в доме с башенкой, известном в округе под именем “Дудинка”. Наверное, в дворовой кутерьме ссорились, мирились. Но ни она, ни я тогда не запомнились друг другу.

Борцы яхкались со всеми, отдавая предпочтение боксерам. Они, подобно нам, пахали до седьмого пота и не бахвалились тем, что старостой курса был назначен их тяж Лев Потоцкий. Его свернутый набок нос, иссеченное шрамами лицо говорили, что Лева приходилось побывать в самых серьезных

передрягах и отнюдь не только на ринге. Внушительный торс старосты сплошь покрывали татуировки. И лишь одна из них была читабельна: “Не забуду братишку Петю”. А еще он щедро сыпал афоризмами, скорее всего, собственного изобретения: “Житуха, если при монете, не так уж дорога”, “Мы любим “Спорт”, но только папиросы, мы любим “Труд”, но только шоколад”.

Все было бы ничего, если бы нас, первокурсников, не преследовал кошмар анатомии. Она могла напугать кого угодно: видом учебника размером с буханку, “свеженькими” трупами для препарирования, триэксельным скелетом дореволюционного маньяка, который еще при жизни завещал свой остов нашему анатомическому музею, рядами банок с заспиртованными органами и неистребимым запахом формалина, пропитывающим насквозь и тело, и одежду.

В кабинет ректора, минуя секретаршу, влетает взъерошенный комендант общежития, истеря с порога:

— Затворились и не открывают! Орут на весь этаж! Мебель порушат, а мне за нее отвечать!

Ни один мускул на лице ректора не дрогнул. Он давно смирился с тем, что всякий посетитель норовит вывалить на его голову ушат своих проблем. Добившись от коменданта более или менее внятных разъяснений, он успокаивает его:

— Весна пришла. Это наверняка Колесник с Иваницким. Скажи этим мартовским котам, что если не уговорятся, горчицей зад намажу!

На нас с Лехой с приближением весны накатывало буйное помешательство. Забаррикадовавшись в крохотной комнатенке, мы с пеной на губах вытанцовывали что-то отдаленно схожее с цыганочкой, неся при этом несусветную ахиною: “Эх, ромалы! Чавела! Шуруй, залетные!”

Столица встретила нас помолодевшей. Она избавилась от деревянных халуп на Садовом кольце, возвела Лужники, разукрасила грузовики фестивальными ромашками, наполнив скверы и переулки молодежью невиданной “разноцветности”, которая пела и плясала ночи напролет. Выступление нашего института на Большой спортивной арене приняли на ура. Сергей Андреевич внес меня в список участников любительских соревнований по вольной борьбе. Турнир оказался для меня первым в жизни международным. Поначалу, встречаясь с иностранцем, робел. Потом разошелся, да так, что удостоился золотой медали размером с десятикопеечную монету — моим пропуском в будущее.

Святой преподобный воин

Самое сложное испытание в метро в часы пик — пробиться на освободившееся место, сохраняя при этом интеллигентность на лице. Тинек любил щеголять подобными каламбурами, но не он и не они задавали настрой команде. Базовые установки всегда исходили от “Сереги”. Он пашет не за страх, а за совесть, ни перед кем не лебезит, не домогается почестей и никуда не пробивается, растопырив локти. Потому-то мы и удивились, узнав, что его забирают в Москву на должность главного тренера ЦСКА по вольной борьбе, и он согласился.

Перед отъездом Сергей Андреевич зашел к нам домой. Разговор с родителями велся за закрытыми дверями. Не знаю, какие резоны привел тренер, но отец отпустил меня с ним в столицу. Служебную квартиру Сергею Андреевичу предоставили в воинской части, дислоцированной вблизи Пироговского водохранилища. Мой скарб состоял из пуховой подушки, перелицованного отцовского драпового пальто и зеленой велюровой шляпы. Жили мы с ним словно бедолаги. Голые стены, тощие тюфяки вместо кроватей, Ложась спать, укрывались кто шинелью, а кто фланелевым пледом. Кусок фанеры, примощенный на связках книг, служил нам столом. Питались мы в основном пшенной, сдобренной прогорклым подсолнечным маслом. Москва истинному жителю северной столицы Сергею не приглянулась.

— Я бы этих хрущёбных архитекторов связал в единый пучок и повесил бы на ветродуде любоваться на свое тварье... ение!

Со временем его мнение изменилось, и мое тоже, тем более что самая большая “деревня” страны тихой сапой сумела влезть в наши души. Холодстоящее наше прозябание тоже длилось недолго. Неожиданная помощь пришла со стороны шурина Сергея Андреевича. Он трудился на оборонку, и знакомых ответственных начальников в столичной армейской среде у него была уйма. С его подачи нас стали зазывать на чаёк в генеральские дома, и не абы какие, а сталинской архитектуры. Тренер в перерыве между тостами заводил разговор обо мне. По его рассказам выходило, что в скором времени он вырастит из меня не просто рядового атлета, а “Финиста ясна сокола”. После сладкого взрослые куда-то испарялись, и я обнаруживал себя в уютном уголке рядышком с милым эфирным созданием. Раскрыв пухлый семейный альбом, создание показывало мне снимки папиной дачи, его служебной машины и, разумеется, свои собственные пляжные фото. Серега, возникая из небытия с рюмочкой ароматного коньяка, заговорщицки подмигивал мне и вновь растворялся в недрах гостеприимной квартиры. Вскоре приехала жена Сергея Андреевича. Прознав про наши визиты, она устроила разбор полетов. Замаливая грехи, я с рвением бросился помогать Маргарите Сергеевне по хозяйству: чистил на “камбузе” картошку, колол дрова, ходил с авоськой за продуктами, а иногда нянчился с их дочками Галей и Наташей. Мальшню записали в музыкальный кружок, и мне иногда доверяли роль не то дядьки-надзирателя, не то репетитора. Я заявлялся с ними в офицерский клуб, на сцене которого красовался концертный рояль. Девчушки садились за него и разучивали гаммы. В паузах я насобачился вытренькивать наипростейшую песенку: “Раз морозною зимой вдоль опушки лесной шёл медведь к себе домой в тёплой шубе меховой...” За мои подвиги Маргарита Сергеевна, выпускница Ленинградской консерватории, обладательница редкостного колоратурного сопрано, дипломантка престижного музыкального конкурса имени М. И. Глинки, подарила мне свою фотографию с надписью: “Пока не заслуженная — пока не заслуженному!” Поняв по-своему посвящение, я пристал к тренеру, чтобы он подал документы на присвоение мне звания мастер спорта. Сергей Андреевич заартачился, заявив, что раньше этот значок вручали только чемпионам страны, серебряным призерам или тому, кто дважды в течение трех лет завоевывал бронзу. Одним словом, мне предложили охолонуть. Тем не менее до столичного округа ПВО дошли слухи о подающем надежды тяже, и мне предложили перейти к ним из “Буревестника”, пообещав столичную прописку и койку в офицерском общежитии. Но тут возник Московский военный округ, способный по своему хотению одеть в кирзовые сапоги любого гражданина страны призывного возраста. Сыр-бор из-за моей скромной персоны разгорелся нешуточный. Пришлось подключать орудие большого калибра — генерал-полковника П. Ф. Батицкого, фигуру знаковую для тех времен. Его биография и сегодня выглядит впечатляюще: начальник штаба советских военспецов при гоминдановском правительстве Чан Кайши, орденосный комдив в Отечественную, создатель космического щита страны, маршал. По слухам, он был среди тех военачальников, кто арестовывал Берию, и лично привел приказ о его расстреле в исполнение. Он ржал как конь, когда при нем затрагивали эту тему.

— Хочешь, и тебя пристрелю! — страшал он особо любопытствующих. Сам, наверное, воспринимал все эти рассказы, как опереточную байку. Среди нас спортсменов он был больше известен как приемный отец Юрия Власова. Стоило генералу-горе вылезти из легковушки, как машина, освободившись от непосильного груза, на радостях подпрыгивала вверх. Театральное начальство, застигнутое врасплох его внезапным появлением на спектакле, терялось. Дело в том, что кресел, способных вместить маршальские чресла, в театральном мире не существовало. Именно Батицкий, командовавший в ту пору МО ПВО, и распорядился спровадить меня подальше от Москвы в подвластные ему палестины и там порешать все мои проблемы. Билет на Потьму — станции с ничего не говорящим мне названием — я заполучил на следующий же день, вместе с предписанием отыскать в Мордовской глухомани упрятанную в подземные бункеры воинскую часть, зачислиться там на

любую свободную должность для вольнонаемных, а затем под видом местного жителя призваться в местные ракетные войска.

На Казанский вокзал я пришел задолго до отправления поезда по привычке, доставшейся мне в наследство от родной бабули. Бедолага так настрадалась от бедлама, творившегося на железных дорогах в гражданскую, что заявлялась на станцию ни свет ни заря, стоически дожидаясь, когда гуднет нужный ей состав.

Брожу по сумрачному залу ожидания, с завистью поглядывая на везунчиков, оккупировавших скамейки. Подмостив под головы вороха одежд, счастливицы посапывают во сне. Не разлепляя глаз, они вздрагивают, на шаривая свои пожитки. И убедившись, что багаж на месте, вновь впадают в беспокойное в забытье. На подокошнике, судя по модным на селе черным плюсовым жакетам, примостились хохлушки-подружки. Их обступили цыганки. Перебивая друг друга, таборные веучивают молодухам скляночки с “шанельными” духами, тюбики с самопальным тональным кремом, баночки синюшного мазилова для глаз, искрящегося крошевом от елочных украшений, и пузырьки с приворотным зельем. Самая бойкая из дивчин чиркает губной помадой себе по запястью и немеет от восторга: “Ось дывитесь! Червона як Дебальцевска пожарна машина!” Мне захотелось шугануть цыганок, но я понял безнадежность своего донкихотства. Стоит отойти от хохлушек, как торговки вновь вернутся охмурять землячек.

Набретаю на вокзальный буфет. С опаской рассматриваю товар: яйца вкрутую, плавленые сырки, заскорузлые пряники в целлофановой упаковке. Вздыхаю по недавним временам. Полиция тогда еще не гоняла от составов теток с домашней снедью, и на каждой станции они завлекали покупателя хрустящими малосолевыми огурчиками с обжигающей рассыпчатой картошкой, то копченым рыбцом, лоснящимся от жира, то прутами, обвитыми спелыми вишнями. Беру стакан кофейной бурды, пряники, пару пачек печенья, с прицелом на дальнюю дорогу, и снулый салат.

— Хлеб черный или белый? — равнодушно спрашивает буфетчица.

— А мне все равно. Я не расист!

Моя занозистый ответ почему-то привлекает внимание носильщиков. На каждом форменный фартук и номерная бляха. Навалившись на буфетную стойку, они бесцеремонно рассматривают меня. Незаметно провожу рукой по брючному карману. Зашпиленные булавкой документы и наличность целехоньки.

— Никак борец? — подает реплику самый осанистый из них. — Айда на поясах тягаться! Мы тут пакгауз под кураш приспособили.

Выкручиваюсь как могу, мол, с чемоданом неохота таскаться, да и поезд боюсь пропустить. Меня осаждают:

— Лапшу-то на уши не вешай, срейфил, что ли?!

Хочешь не хочешь, а после таких слов надо вызов принимать.

Ёжусь не то от мандража, не то от холода. Июнь в разгаре, а ночка выдалась стылая. Тащусь за носильщиками непонятно куда и зачем. То и дело спотыкаюсь о рельсы подъездных путей. К моим сопровождающим, судя по промасленным кацавейкам, прибавилась дюжина-другая мастерового люда. Похоже, что сарафанное радио на вокзале работает “на ять”. Они идут гурьбою, что-то тарабани на непонятном мне языке. Моего чемодана и след простыл. Но мне не до него, лишь бы живу быть. За выездным светофором все сворачивают к длинному приземистому строению из бетонных панелей. Внутри подклеповатая лампочка сиротливо высвечивает обшарпанные стены и ряды поленищ. От дров свободен лишь пяточок цементного пола, присыпанный толстым слоем опилок. Мне одалживают кушак из грубой холстины. Наскоро растолковывают правила кураша. Долго соображать, что к чему, не приходится. В центре “манежа” меня ждет-дожидается дядька. Переминаясь от нетерпения, растирает уши, гнется из стороны в сторону. Ухватки борцовские, значит, тертый калач.

— Чо замешкался-то, — вразумляют меня из толпы, — задний ход хочешь отработать? У нас только “алга” — вперед! Попятился, разворачивайся и опять алга!

Делаю глубокий вдох, чтобы наислородиться, и чуть не задыхаюсь от кашля, перебрав воздуха с тленным привкусом грибковой плесени. Спыхватываюсь поднятым на воздух, что на нашем жаргоне зовется вторым этажом. Судорожно пытаюсь выскользнуть из цепкого захвата. Противник явно не поверил фарту и промедлил. Извернувшись, умудряюсь срезать его подсечкой. Пакгауз ахает от досады. Шли поразвлечься, а нарвались на облом! Носильщики не дают мне продыху. Жажущих помериться силой со мною среди них хоть отбавляй. На меня настраивается очередной батыр. Наружностью он покрепче первого и весь из себя накрученный. Вид такой, что дай ему волю, порвет пасть — знай себе прет и прет напролом. Видно, хочет одолеть меня не мытьем, так катаньем. Мне опять подвезло. Бросаю его отхватом. Он грохается на цементный пол, да так, что мне даже жаль бедолагу. Зритель шумливой перебранкой откликается и на этот прием. Хочется поостыть после столь бурных поединков, но не тут-то было...

Не то после пятой, не то после шестой схватки чувствую, что измотан донельзя. Готов брякнуться на цементный пол, лишь бы они отцепились от меня. Совсем скисаю, когда вижу, что на свеженького выходит вдохновитель “сабангя”, тот самый, который заприметил меня в буфете. Судя по общему оживлению, его придерживали напоследок не зря. Он именно тот, кто сейчас задаст мне показательную трепку. Проскальзывает подленькая мыслишка увильнуть, отказаться! Я же не подписывался бодаться со всем честным казанским народом! А тут еще засадила натертая жестким кушаком пояница и заныла щека, ошкрябанная чьей-то щетиной. Но на жалость здесь никого не возьмешь. Скрепя сердце выхожу на середину. Противник так и пышет желанием поквитаться со мною за всех. Отклячив зад, короткими рывками подтаскивает меня к себе и, ослабляя хват, играет со мною, словно кошка с мышкой. Готовясь эффектным броском прикончить меня, старшой подставляется. Его согнутая в колене нога оказывается чуть пообок от меня, и я, почти наобум, делаю зашагивание. Бригадир, шатнувшись, грохается бревном на цементный пол на все четыре лопатки...

В вагон носильщики заносят меня на руках. С таким же триумфом доставляется в купе и выплывший из небытия чемодан. Уходя, они поощрительно вздохмачивают мою и без того растрепанную прическу и, цокая языками, одобрительно добавляют: “Якши!” Последний из них замешкался в дверях и придавленным шепотом выпалил:

— Ну, ты меня выручил, ох, как выручил! Задолбали курашом. Может, теперь угодятся!

Закрываю за ним дверь. С трудом стягиваю мокрую рубаху и насквозь пропотевшую майку. Руки забиты настолько, что не могу смахнуть опилки, налипшие на хребтине. Вразной клацают буфера, пробуксовывая, скрежещут колеса и состав, дернувшись, трогается в путь. Проводник приносит в подстаканнике свежезаваренный чаек. В его услужливости подтекст. Он привык делить людей по ранжиру: на пассажиров мягких, купейных, плацкартных вагонов и ...зайцев. А тут проводы с помпой и наказ никого в купе не подсеять. Но он готов биться об заклад, что в моем чемодане все же нет глаженной полосатой пижамы для перронного променада на остановках...

Спозаранку в дверь купе тарабанят:

— Просыпаемся! Следующая остановка Потьма, вы...ы...ходим!

Подкатив к станции, поезд тормознул ровно настолько, чтобы пассажиры успели соскочить на платформу. Все вновь прибывшие испарились, будто их и не было. В надежде отыскать живую душу направляюсь к пристанционному строению. Крошечный зал ожидания, обшарпанные скамейки, тумбочка с питьевым браком и неизменной кружкой на цепочке. За перегородкой скучающая кассирша. При моем появлении она настораживается и, прежде чем ответить на расспросы, надзирательно обсмотрев меня, требует предъявить командировочное удостоверение. Покрутив бумажку, в том числе и на просвет, и убедившись, что все гербовые печати на месте, она сообщает, что до нужного мне пункта назначения вот-вот отправится рабочий поезд. И точно: поодаль, распуская белоснежные бакенбарды, нетерпеливо пофыркивает маневренный паровозик мультяшных размеров с надраенными до блеска медяшками и трубой, похожей на цилиндр трубочиста. На фоне эдакого

музейного экспоната прицепленные к нему вагоны выглядят обшарпанными заморышами: ободранные бока, болтающиеся тамбурные двери и ступеньки через одну. Пассажиры, судя по репликам, — давнишние знакомцы. Через проход от меня, не дожидаясь отхода поезда, разношерстная публика вовсю режется в подкидного. Им мешает малявка, и они, не церемонясь, выставляют ее в проход. Паровичок присвистнул по-разбойному и, тарыхтя железами, покотил по узкоколейке. Предоставленная самой себе, худосочная девчужка не то семи, не то десяти лет от роду, обутая явно не по погоде в безразмерные резиновые полусапожки, поерзав на всех свободных скамейках, пристроилась напротив меня. У нее вкривь и вкось заштопаны колготки, челка сбита набор и бесенята в глазах. По всему видать, настроена на общение:

— Ты, дяденька, чо делаешь?

— Именно сейчас-то? Собираюсь перекусить. Хочешь пряника?

По тому, как она сколупывает с него глазурные чешуйки, как бережно собирает крошки в горстку, а потом смакует их, понятно, что ее редко балуют сладостями.

— А вот чем ты ешь? Ложкой, да? — не оставляет меня в покое малявка. — Их мой папка из алюминия штампует. А с чего ешь? Со сковородок или тарелок? Ежели с тарелок, так их моя мамка прессом клекает. Она вместе с папкой работает. Папка с одного конца заводу, а мамка в другом его угле.

Не перебивая ее щебетание, я подсовываю ей новую порцию печенья.

— Глянь в окошко. Вишь ту ворону? Нет, не ту, что полетела, а ту, которая на ветке вертит хвостом. Ее сам Бог сделал. Раньше его не было, потому что люди рождались от обезьян. А потом Господь стал главный, и вся красота от него, и со злом он сражается. Бог за нас, красных, заступается, а злых ножиком тыкает. Вот как ты думаешь, у него есть бабушка? У тебя самого их сколь? А у меня цельных пять штук. Потому как мамка в третьем разе на новом дядьке женилась.

Мальшка все время егозит, не сидится ей на одном месте, и она страсть как хочет поделиться со мною еще чем-нибудь:

— Дяденька! Хошь, я тебе значок дам. Он с дедушкой Лениным.

— А кто он такой? Наверное знаменитость какая-то!

— Ну да! Его, еще в прошлую войну, убили. Он был самым главным советским человеком, а они и немного другие, похуже Ленина получились. Там тенька плохая была. Он ехал на машине в магазин, а она ядовитой пулей из кустов в него стрельнула и немножечко ранила дедушку Ленина. А вот Пушкин, — продолжала поражать меня своими познаниями манюня, — подрался с дядькой за женину честь. Его взяли и враз пришили. Поэтому сейчас его пока нет в живых...

Я слушаю и не слышу ее. Спыхватившись, интересуюсь, что из моих сладостей более всего пришлось ей по вкусу. Ее ответ впечатлил:

— Больше всего мне понравилось все!

Машинист, видно по всему, тут сам себе хозяин. Он то отцепит вагон, то подгонит паровичок к водокачке, то сбавит ход, чтобы сбросить перевязанную шпагатом кипу газет подоспевшему почтальону, а то и вовсе остановится курнуть козью ножку со стрелочником. На каком-то безымянном полустанке сходит моя говорливая попутчица. Она едва успевает семенить за матерью, вцепившись в подол ее балахонистого платья. Состав трогается. Вдоль железнодорожного полотна, немного отступя от него, тянется забор из горбыля. От его плотно пригнанных досок рябит в глазах. Мне и невдомек, что за этим частоколом скрываются от посторонних глаз бараки Дубровлага.

Клац... Клац... выстукивают подковы солдатских сапог, задавая тон порывам ветра, облакам, проплывающим в вышине, сжатой в пружину роте, перед ее поворотом к импровизированной трибуне. В предвкушении удовольствия от предстоящей четкости маневра командир энской войсковой части заранее расплылся в улыбке. И, отдавая честь проходящим шеренгам, успевает согнать ее с лица, как не положенную по уставу. Его ладонь, поднесенная к виску, подрагивает от напряжения. После ранения в правую руку немецкой разрывной пулей “дум-дум” хирургам чудом удалось спасти ее. Рука осталась держаться на честном слове, вернее на сухожилиях, и едва сгибалась

в локтевом суставе, но старлея не комиссовали из действующей армии. Осколки от той пули, запрещенной всяческими гуманными женеvскими конвенциями, остались в его шитых-перешитых мышцах навечно. Не обнаруживая себя годами, иногда, словно взбесившись, железки вылезали наружу, разрывая на своем пути капилляры. От того и зазудело у него плечо, и повело кисть при отдании чести. Полковник цепко всматривался в лица марширующих мимо него солдат. Он знал каждого, потому что отбирал их вместе со спецотделом поштучно, на рентгеновский просвет, согласно специфике вверенной ему ВЧ. Довольный результатами смотра, он скомандовал:

— Вольно! — И коротенько толкнул речь: — Установку ракет нового образца надо рассматривать в свете последних наших мирных инициатив на международном арене...

Вздыхнув с облегчением, он обернулся к посыльному, выросшему перед ним словно из-под земли:

— Товарищ полковник, разрешите обратиться! На КПП объявился какой-то мастер. Утверждает, что направлен к вам в часть напрямиком из Москвы!

— В штабе разберемся!

В тесноватом кабинете, разобравшись со мной, полковник подытоживает разговор:

— В казармы не соваться, заселиться в офицерское общежитие, выправить трудовую книжку ноги в руки и напрямиком в военкомат. Выполнять! — И напоследок добавил, чтобы на транспорт войсковой части не рассчитывал. Понятно, командиру не терпелось избавиться от меня и по возможности поскорее. И завершая свои наставления, он приказал накормить меня, судя по его тону, до отвала. Доставленный, похоже что под конвоем, в солдатскую столовую, я уселся за длинный стол, дожидаясь, когда посыльный проведет разъяснительную беседу с поваром. Пряники, конечно, пряниками, но в желудке у меня бурчало. Уяснив, что к чему, повар, погрохотав стопкой мисок, выбрал ту, что показалась ему почище других, налил в нее черпак щей и, чуть помедлив, добавил в них шмат свинины, прослоенный пупырчатым жиром. Расправившись с первым, я оказался в центре внимания всего кухонного наряда, решившегося вблизи рассмотреть чудика в штатском. На второе, в ту же самую миску, мне навалили керзухи, то бишь перловой каши, с куском пересоленной жареной рыбы непонятного происхождения. Пытаясь разыскать вилку, я переставляю миску, отодвигаю в сторонку хлебницу, отставляю в сторонку кружку с чаем. Вилки нет и в помине.

Догадавшись о цели поисков, наряд вытаскивает каждый свою ложку из-за голенищ и в разноразной барабанит ими по столешнице. Натянутость между нами как рукой снимает! Пошли расспросы, кто, мол, и откуда? Повар расщедрился и сдобрил перловую кашу смальцем, намекнув, что с приварком у них полный порядок:

— У нас зам по тылу толковый, и фамилия у него что надо — на “ко”, так что свиньи хрюкают, картошки бурты, кислой капусты годовой запасец. Не тушуйся, лопай, равняй рожу с жопой. Вернись домой — мать родная не узнает.

Топать пехом до Темниково далековато. Благо подвернулась попутка. В кузове трехтонки, доверху груженном гравием, примачиваюсь в уголке, вцепившись в борт руками. Грузовик то и дело проваливался в рытвины. От непрерывной тряски отбиваю копчик и сопутствующие ему филейные части тела, утешаясь тем, что из-за таких вот непролазных дорог никакие гитлеры социализму не страшны. Городок своими дощатыми тротуарами, глухими воротами, тетками, обутыми в остроносые чоботы и одетыми в вышитые сарафаны, с рогульчатыми кокошниками на головах, походил на действующих лиц из спектакля о пошехонской старине. Дом крестьянина, он же и гостиница, за символическую плату предоставлял мне койку с панцирной сеткой и матрасом. В продуктовой ларьке набор съестных припасов оказался не ахти какой: кровавая колбаса, плавильные сырки и консервы “частик в томатном соусе”. Зато меня обрадовала книжная лавка. Ее полки оказались заполнены собраниями сочинений Чехова, Толстого, Гоголя, Достоевского, за которыми с переменными успехами гонялись москвичи. Я скупил бы себе

на радостях все, но моей заначки хватило лишь на “Идиота”. Выбор этого произведения в моем положении выглядел более чем двусмысленно.

С военкомовской медкомиссией произошла накладка, точь-в-точь как в инфизкульте. За близорукость, сколиоз и плоскостопие мне выставили “неуд”, то есть посчитали непригодным к несению воинской службы вообще, тем более в ракетных войсках. Но главврач комиссии оказался в теме и поставил на моем медицинском освидетельствовании нужные печати. Все вроде связалось. Однако бюрократизм присущ всем, и наша армия тут не исключение. Засургученный пакет с нарочным направили в Московский округ ПВО. Улита едет, когда-то будет...

Время тем временем тянется, и что делать со мною, в части никто не представляет. Формально я военнотрудовой. Но на вещевом складе не оказалось ни сапог моего размера, ни гимнастерки. Нашлась пилюлька, но и та еле держится на макушке. Безнадежно махнув рукою, командир части приказывает обмундировать меня в серый комбинезон для малярных работ. В строй такое чучело, естественно, не поставишь, и политруку поручается занять меня хоть каким-нибудь полезным делом: к примеру, малевать кумачовые лозунги, писать плакаты и выводить хоровые рулады в армейской самодеятельности.

Но главное... главное — мне поручаются занятия по физкультуре с офицерским составом части! Не так давно вышел приказ министра обороны, направленный на приведение чересчур осанистых фигур командного состава в надлежащий воинам вид. И как ни крути, но выходило, что в ракетной части, замаскированной под мордовские леса, только я был носителем физкультурных знаний. На перекладине офицеры упражнялись с пониманием. Но вот зачем я мучаю их метанием ядра и барьерным бегом, не понимали. Они не догадывались, что на тот момент мое образование было далеко не высшим. Может, поэтому они и чурались меня, но скорее потому, что подолгу исчезали из поля моего зрения, заступая на боевое дежурство в подземных бункерах. Вечерами князь Мышкин доканывал меня. Прочитав главную и придя от княжеского наива в бешенство, я зашвыривал роман под кровать. Чуть погода, поскуливая от ненависти к своему безволию, лез под нее, отыскивал замаранную паутиной книгу и, разгладив измятые листы, вновь принимался глотать страницу за страницей. О своих товарищах-борцах если и вспоминал, то как о чем-то далеком. Да и сам спорт отсюда, из воинской части, затерянной в глухих лесах, казался миражом, особенно мой последний сбор...

В конце мая, с подачи Сереги, меня вызвали в Сочи, где тренировалась сборная страны, на смотрины. Жить на первых порах пришлось на свои кровные, отдельно от всех. А я и не горевал, сняв по дешевке клетушку с кроватью и колченогим венским стулом в шаге от гостиницы “Приморской”, то есть почти на берегу моря. В моем скворечнике щели оказались широченными, и перед сном я, засматриваясь на звезды, ощущал себя посетителем планетария. Курортный город ошеломил меня. Оказывается, у самого синего моря лилии растут на деревьях, но называются магнолиями, лавр низведен на положение бордюрного кустарника, а стрижка волос, чистка ботинок и тарелка рисовой каши имеют одну и ту же рублевую цену. На робкую просьбу о сдаче мне презрительно замечали:

— На, бэри, раз ти такой бэдний!

Но все мелочи меркли перед величием заката. Багровея, светило клонилось к горизонту. И курортники всех видов и достатков, замороженные воистину библейским действием, не покидали смотровую площадку на набережной у гостиницы “Приморская” до тех пор, пока последний протуберанец солнца, перед тем как кануть в небытие не вспыхивал на прощание своим ружьем чубчиком.

На рассвете я спешу на пляж, подзарядиться, а заодно, по питерской привычке, и позагорать. Несусь вниз, к морю, по кипарисовой аллее. Ощущение такое, словно за плечами крылья, и я не бегу, а лечу. На пляже никого, если не считать тумбообразной мадамки и редких, еще не проспавшихся персонажей в отдалении. Мадамка, не стесняясь меня, скатывает обвисшие

до пуза груди в трубочки, запикивает их в самошвейный бюстгальтер, а затем, переступая с охами по гальке, плашмя плюхается в море, порождая прибойные цунами. В ее глазах я, наверное, тоже персона с вывертом: непринципиально кручу бедрами, ворочаю над головой каменику, отжимаюсь. В общем, мы друг друга стоим...

На тренировках не стянуть раззявленный от удивления в пуговку рот от вида “значных людей”. Взять хотя бы Коткаса. На приеме в Кремле в честь победителей Хельсинкской олимпиады Сталин подозвал его к себе и спросил:

— Мне сказали, что вы самый сильный человек в мире. Это так?

Вместо ответа Йоханнес подхватил Сталина на руки, поднял на уровень груди и тут же бережно опустил слегка обескураженного вождя на пол.

— Сильные люди живут в Эстонии, — разряжая обстановку, заметил Сталин.

Внимательно наблюдаю за Алимбегом Бестаевым. Легковес не борется, а джигитует. На прошлом Кубке мира осетин затратил на каждого соперника по минуте, не больше. Его слегка заносит, но корифеев в сборной страны хоть отбавляй, так что они не дают ему особо зазнаться.

Средневес Давид Цимакуридзе на сборах откровенно сачкует. В Тбилиси герою Мельбурна приходится несладко. Люди, знакомые с ним хорошо и не очень, не дают ему пройти, норовя заполучить знаменитость на “той”. Поэтому сочинский сбор для Давида — санаторий. Он воспринимает тренерские наставления с улыбочкой, бесшабашность которой придает фикса. Меня так и подмывает желание подгадать момент и уговорить его обучить меня приемчиками из грузинской чидаобы.

На сборах схожусь с Владимиром Синявским, быть может потому, что он первый принес мне радостную весточку, опередив даже Серегу, что меня берут в команду на общий кошт. У Володи повреждена кисть, результат послевоенных забав с неразорвавшимися снарядами. Ему еще повезло, он остался жив. Увлечшись борьбой, Синявский приспособился увечной рукой проводить такие корючки в партере, что от них если и спасались, то с надрывными стенаниями...

Футбольная команда нашей части выигрывает товарищеский матч у темниковцев. В знак поощрения, замполит разрешает искупаться в Мокше. На берег летят гимнастерки, ремни, майки, сапоги, и солдатушки, бравы ребятушки, впадают в детство. Оно ведь не заканчивается до тех пор, пока в тебе не угасло желание с разбега сигануть в речку. Хохота, плеска, ныряний хоть отбавляй. Я вытворяю Бог знает что, еще и потому, что наконец-то получил на руки предписание срочно прибыть в ЦСКА. А потом нестроевым шагом мы направляемся в Санакарский мужской монастырь поклониться праху адмирала Российского флота Федора Ушакова. Втиснувшись в ограду из ажурного литья, мы в полном молчании возлагаем к подножью памятника полевые цветы. На погребальной плите едва различима эпитафия: “Ни славы мирския, ниже богатства взыскупа, но Богу и ближнему послужил еси”...

Не так давно Союз писателей России вручил мне премию “Имперская культура” за публицистические выступления в печати. Годом раньше подобную вручили министру иностранных дел Сергею Лаврову. Было от чего зазнаться. Вместе с грамотой мне вручили бюст Ушакова, на цоколе которого было выгравировано: “Ни славы мирские, ниже богатства взыскупа...”. Подумалось: вот так совпадение! Всем совпадениям совпадение!!!

Великолепная семерка

Ковбойский боевик шквалом пронесся по кинотеатрам страны, выбив из седла Чапаева. Чуть позже прославленного героя гражданской войны вместе с его ординарцем Петькой и Анкой-пулеметчицей окончательно доконает “Армянское радио”.

Ну а пока “плешка” у метро Сокол кишит стриженными под нулевку поклонниками Юла Бриннера. Фанатики голливудской кинозвезды, затянутые в джинсы, фланируют у метро, подражая вкрадчиво-пантерной походке киноактера, как потом выяснилось, самых что ни на есть одесских корней.

Обычно в сентябре Серега приступает к набору молодняка в секцию борьбы армейского спортклуба. Сокол отряжал к нему наиболее буйных своих представителей. Преображенский принимал всех без разбора, в том числе и “ковбойствующих”. Слабаки отсеивались сами собой. Остальные, прикипая к борьбе, теряли интерес к киношной романтике...

Горбатенко попал в ЦСКА именно этой проторенной дорожкой. Все решило, что в клубе объявился реинкарнированный Есенин. Владимир был похож на него пронзительной голубизной глаз, белокуростью, умением слагать стихи по поводу и без. Ко всему прочему новичок играл на гитаре, рисовал, резал по дереву и... наплевательски относился ко всему на свете. Понятно, что все свое свободное время мы теперь толклись в его квартире на Новопесчаной улице, добротные дома которой возвела пленная немчурка. Народ в них заселяли смешанный: многолетние семьи, отставников, ударников производства, а кого-то и по особым спискам. Володькин отец возглавлял газетенку сельской направленности. Вооружившись очечками, он с утра, прежде всего, прочитывал передовицу в газете “Правда”, отчего сходил у сослуживцев за человека “передовых” взглядов. Основательно проработав тезисы главного рупора партийной прессы, Володькин предок отбывал руководить своим печатным изданием, а точнее, сбежал из дома от своей деспотичной супружницы. Низенькая, расплывшаяся, сварливая, единожды причесанная, она поедом ела домочадцев, особо налегая на деток-охламонов, не замечая, что они уже давно отпочковались от нее. Старшенький Дима выучился на дипломата. Замороженный йогой, скупердяйничая, он столовался отдельно от семьи, гордясь тем, что тратит на свое пропитание копейки. Его завтрак состоял из чая и бутерброда с сыром, за обедом Дима довольствовался бутылкой кефира, а на ужин позволял себе блюдечко пророщенной пшеницы и потреблял мясо, забывая о наставлениях йогов, лишь в гостях. От такой диеты он отощал и выглядел тоньше собственной сберкнижки, которую прятал от домочадцев под линолеумом в ванной. Мамашин любимец Коленька, несмотря на юный возраст, приохотился пристраиваться к женщинам бальзаковского возраста и чувствовал себя в их горячих объятиях пречудесно. Средний Владимир учился в школе, перенасыщенной отпрысками номенклатурных работников, лауреатов громких премий и заведующих овощными базами. Теснее всего он сошелся с Юркой Чурбановым и Владимиром Казаковым. Юрку, конечно же, тянуло к заводному Владимиру, но его папаня, какая-то райкомовская шишка, не особо жаловал Горбатого и всю нашу компанию в целом. Да мы и сами на его “хате” не засиживались. Среди дефицитной румынской мебели, хрустальных ваз и крахмаленных кружевных салфеточек мы чувствовали себя не в своей тарелке. В противоположность Чурбанову записной острослов Владимир Казаков, а для “плешки “просто Казак, казался нам свойским с головы до пят. Он был легок на подъем и щедр на каламбуры. Увязавшись с нами в Питер, Казак набрал московский номер своего телефона и тоном заговорщика поинтересовался у девушки, поднявшей трубку, не продаст ли она “славянский шкаф”, тем самым произнеся кодовый пароль подпольщика из разобранного народом на цитаты кинофильма “Подвиг разведчика”. На другом конце провода среагировали соответственно: “Шкаф продан. Есть никелированная кровать с тумбочкой”. Оценив находчивость незнакомки, Казак поболтал с ней минуту-другую, пообещав приложить свои анкетные данные.

Их эпистолярный роман донельзя забавлял нас. Особенно потешался над ним Чурбанов. Но вскоре письменные страсти угасли, тем более что Казак готовился к сдаче вступительных экзаменов в Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР. Стать кремлевским курсантом считалось редкостной удачей. В это училище, а когда-то Первую московскую революционную пулемётную школу, сформированную еще в декабре 1917-го, еще до создания Красной армии, стремились попасть отпрыски самых громких фамилий: внуки Хрущева и Чкалова, сын Стаханова, заместитель председателя Совета Министров СССР Малышева. В стенах училища Владимир прославился не отметками, а строптивостью. Скорее всего, в нем разыгрались крови: русская, армянская и польская. В спорах он не

скрывал свою точку зрения, заявляя, например, что не Хрущев, а китайцы правильное оценивают историческую роль Сталина. Тяготел к абстрактной живописи, Пикассо он все же называл голым королем. Владимир не переносил нападок на религию. Однако не вольнодумство, а шагистика погубила его. В училище изучалась высшая математика, теоретическая механика, физика, иностранные языки, психология, электроника, но надо всем довлела шагистика. Муштровали курсантов перед парадами на Красной площади немилосердно. За малейшее нарушение строя следовал нагоняй. Казаку не давался ранжир, и никакие суточные наряды не улучшали его выправку. Нагрязнула инспекция. Начальник училища, награжденный медалью Героя Советского Союза за форсирование Одера, заявил ей:

— Или я, или Казаков!

Володя не без свойственной ему грустной иронии впоследствии заметил:

— Надо было мне первому бухнуться перед комиссией на колени и завопить: или я, или генерал! Глядишь, и пронесло бы.

Из училища его отчислили. Он подался на севера. Рыбачил на сейнере в Охотском море, промывал золото на Колыме, освоил профессию взрывника, плотничал на острове Врангеля, преподавал русский язык чукотской ребятне в Красной Яранге. В очередном своем северном послании он написал нам в свойственной ему манере: “Если в глазах волка ненависть, в глазах собаки преданность, в глазах осла солидарность, то в глазах оленя такая скорбь, что кажется, сам Господь Бог смотрит его глазами на нашу бrenную землю”. Из заполярного круга он вернулся сдержанным и отстраненным... даже от себя прежнего. К тому времени его мама Тамара Павловна, прошедшая всю войну переводчицей, переехала от Сокола в дом на углу Банного переулка и проспекта Мира.

“Подъезд. Высокая застекленная сверху дверь. Слабый голос солнца сквозь запыленные стекла. Старческая дрожь перил. Ворчливый лифт. В узкой передней квартиры — старинное зеркало, которое почти уже ничего не видит”. Так он иносказательно описал свое новое жилище в очередном своем рассказе. В его всегда чисто прибранной комнате стены украшали не то коллажи, не то иконы, не то подобие японских гравюр — живописные работы его брата-художника, ушедшего вскоре в монастырь. Мебель была самая необходимая: письменный стол, антикварный журнальный столик с витыми ножками, несколько стульев. На спинке одного из них висел потертый синий мундир с красным стоячим воротником и продольными, золотого шитья, полосками. На плечах мундира виднелись следы от эполет, а на подкладке сохранилась вышивка: “Лейб-гвардии Уланский Его Величества полк, В. Казаков, 1900 год, 1 января”. Писал Владимир ночами, настежь открыв форточку. Когда ему становилось зябко, он набрасывал мундир деда себе на плечи.

Владимир не написал ни одной строчки, направленной против советской власти. Он не прибилась ни к одному лагерю: ни деревенщиков, ни диссидентов, ни завзятых смехачей. Быть может, я не совсем точен. Вот строчка из его краткой биографии: “В июле 72-го я был крещен по обрядам Русской Православной Церкви. Считаю это самым важным и светлым событием в своей жизни”. Он никому не навязывал своей веры, но мне кажется, она просвечивала в его стихах.

Помимо стихов Владимир все чаще пишет прозу, драмы, лукаво-пародийные пьесы. Его творчеством заинтересовались критики. Вот отзыв на его романе “От головы до звезд” (ФРГ, 1982 год): “Роман этот возникает перед нами, и в литературной перспективе, в литературной ситуации языка внезапно и неожиданно, так внезапно и неожиданно расцветает на иссохшей мертвой почве роскошный оранжерейный цветок: представитель какого-нибудь тщательно и долго культивируемого вида посреди степных пространств; незваное, негаданное и невиданное в данных условиях явление; изысканное дитя утонченной культуры, той культуры рода, вида, отбора, которая — накапливается веками и передается из поколения в поколение”. Предваряя его сборник стихов “Случайный воин”, рецензент отмечает: “Мир Маяковского — героический, мир Блока — демонический, мир Хлебникова — божественный, мир Казакова — незаживающий...”

Сам Владимир признавал своим учителем Крученых. В очерке “Зудесник”, рассказывая о своих встречах с литературным патриархом, он написал: “Многим недоступен Крученых: теперякам и нетеперякам, поэтам и непоэтам. Но главное, что его поэзию любили Хлебников, Маяковский, Пастернак, Хармс и Введенский. Главное, что его поэзию люблю я”. Тем самым он как бы определил свои истоки. Знатоки следили за его творчеством. Генрих Бёлль, приехав в Москву, несмотря на свою занятость, все же нашел время для встречи с ним. Владимира завела к себе неувыдающая Лиля Брик и подарила ему фотографию поры своего расцвета с дарственной надписью. Судя по фото, муза Маяковского действительно могла свести с ума кого угодно. Но Казакова, парня не робкого десятка, отторгнул ее испепеляющий взгляд, забирающий у собеседника всю волю без остатка.

Все было бы прекрасно, если бы он нашел читателя у себя на родине, который бы понял и принял его. Но ему оказалось не под силу достучаться до своей аудитории. Его издавали исключительно за кордоном и отнюдь не по политическим мотивам. Скорее считая, что его имя добавляет красок в палитру современной русской литературы. Можно было обратиться за поддержкой к Чурбанову, уже забронзовевшему, вздернутой брови которого хватало для его признания. Но Владимир тогда не был бы самим собой. Он ушел в добровольную схиму, смиряясь с присутствием в своем окружении лишь матери и Матрешечки — жены Иры, да и то лишь в качестве призрачных теней. Все чаще личным встречам он предпочитал переписку: “Дорогой Саша, посылаю тебе — моему доброму ангелу — “Клейменую ночь”, поэму, изданную в Швейцарии в “Антологии современной русской поэзии”... Прочитав ее, ты увидишь, что она довольно веселая — ибо в ней как в кривом зеркале отразилась моя довольно невеселая жизнь. Посуди сам: одиночество, болезнь, сельская жизнь с непроходимыми дорогами и непролетаемыми небесами. Остаются только вино, карты и... местные женщины”. Мы с Горбатым догадались, что про вино, карты и женщин он упомянул ради красного словца. Но о степени его терзаний не подозревали. Хотя о его душевном состоянии яснее всего свидетельствовали часто употребляемые им слова: секунды, зеркала, звезды, ночь, молчание, дождь, стекло, крыша, фонарь... Стоит раскрыть любую из его книг, на какой угодно странице: “Вот описание ее отсутствия — ветер, несколько каменных двухэтажных зданий и улица, заканчивающаяся холодными сумерками... Кажется, я молчал, потому что запомнил каждое сказанное мною слово... Часто мысль принимают за воздух — та же прозрачность, таинственность и невесомость... Было слышно, как мгновения звенели, сталкиваясь друг с другом. Все было готово к приходу ночи и звезд... Хотелось спросить: “Кто Вы?”, но не было сил, чтобы изогнуть вопросительный знак, словно речь шла о чугуне или железе... Я гляжу в ночное небо, в окно, мне необычайно, словно какое-то созвездие усыновило меня... Знаете, я никогда не проронила ни одной слезы. Разве только однажды — в будущем”.

Почему его перо тяготело к подобному? На мой недоуменный вопрос Владимир предельно серьезно ответил: “Мне так диктуют. Я только спешно записываю...”

“Дарю “плешке” своего “Дон Жуана” — собрание веселых, пародийных пьес. Перелистывайте их, когда загрустите. Продолжаю писать вещи, которые никто никогда не издаст — про любовь, про разбойников, про, черт побери, графов. Всем всех благ. Сердечно ваш — В. К.”

Своего “Дон Жуана”, поставленного на малой мхатовской сцене, Владимир Казаков так и не увидел. Он ушел из жизни, не совладав с невыносимостью отторжения. “Это не он, а болезнь наложила на него руку”, — сказал его духовник. Владимира отпевали в церкви Иконы Божией Матери “Знамение” в Переяславской Ямской слободе. Среди тех, кто пришел на панихиду, были родные и, конечно, все нашенькие. Большую литературу представлял Битов, одетый образно случаю во все черное. С одутловатым лицом, взглядом, скрытым отблесками линз, он походил на оперуполномоченного, желавшего лично удостовериться, что панихида — не мистификация. К этому же, видимо, стремилась и муха в катафальном наряде, со слюдяными

фалдами в прожилках и выпученными фасеточными глазами. Ловко увертываясь от паникадила, она, суча лапками, исползала все тело усопшего, как бы пытаясь распознать, нет ли тут подвоха. Нагляя от безнаказанности, она изготвилась погрызть еще не утратившую розоватость мочку ушной раковины отпеваемого. И только рокотнувшее: “”Вееечнааая пааамять!!!” растворило ее вместе с Битовым в нетях...

Параллельные прямые не пересекаются в пространстве. Людей эта аксиома не касается. Председатель Тимирязевского райисполкома города Москвы Чурбанов-старший в совершенстве владел номенклатурной казуистикой. ЦК призывало выращивать руководящие кадры из пролетариев, и он спешно спровадил сыночка в ремеслуху, ковать рабочую биографию. Естественно, слесаря-сборщика авиационных узлов с распростертыми объятиями принял юрфак МГУ. После чего не составляло большого труда выставить новоявленному юристу прямую дорожку в ЦК комсомола. Да он и сам был малый не промах: гвардейский рост, внешность хоть куда, идеальный пробор, умение налаживать отношения с нужными людьми. Не “плешка” разминулась с ним, а, скорее, он с ней. Как-то мне предстояло решить проблему, не личную, а связанную с развитием детского спорта. Дело без отмашки сверху торозилось. Не раздумывая, я набрал прямой телефон Чурбанова. Мы обменялись соответствующими в таких случаях фразами. Но он цедил их с такой “дистанционной” холодностью, что продолжать разговор не имело смысла. Через Горбатого до меня иногда доходили о нем разные слухи. Володька так передал мне сцену Юркиных смотрин на генсековской даче. Главный запаздывал. Все отправились в кинозал. Под конец сеанса появился Брежнев. Он задал Чурбанову всего лишь один вопрос: “Надеюсь, вы с Галочкой все взвесили?” Обед протекал без особой помпезности. “Принцесса” вела себя за столом скромно, пригубив лишь бокал шампанского. Всю церемонию чуть не испортил старший Чурбанов. От выпитого его развезло, и от избытка нахлынувших родственных чувств он полез лобызаться с будущим сватом. Брежневская охрана перехватила его на полпути, вывела под белые ручки в вестибюль, строго наказав ни под каким видом впредь не появляться на госдаче. Изредка я встречался с Чурбановым. Но нас всегда разделял стол президиума, его генеральские погоны и медальный иконостас на мундире. Издали его кивок головы в мой адрес скорее походил на жест человека, поправляющего туго затянутый узел галтука. Потом в перестройку его спустили с небес на грешную землю... в Нижнетагильскую колонию строгого режима. Большинство его друзей времен фавора как ветром сдуло. Пришлось Чурбанову вспомнить о “плешке”. В маляве, переданной из тюрьмы Владимиру, он попросил заглянуть к своей бывшей благоверной и вытребовать у нее позарез нужный ему для работы в кочегарке спортивный костюм. Горбатый не мешкая отправился к Галине. Дверь ему открыло женоподобное существо. Первым его позывом было желание перекреститься, пробормотав заклинание: “Чур меня, чур!”

У Константина Леонтьева, недооценённого нашего философа, есть один абзац, который как нельзя лучше подходит к этой ситуации. Я возьму смелость лишь слегка поменять концовку, не касаясь его сути в целом: “...Не обидно ли было бы думать, что Моисей всходил на Синай, что эллины строили свои изящные акрополи, римляне вели Пунические войны, что гениальный красавец Александр в пернатом каком-нибудь шлеме переходил Граник и бился под Арбеллами, что апостолы проповедовали, мученики страдали, поэты пели, живописцы писали и рыцари блистали на турнирах для того только”... чтобы чурбановы тешили свое тщеславие?!

На Воробьевых горах мусье Лионский, бывший товарищ и бывший член профсоюза, а теперь господин, отмечая свой достославный юбилей, забронировал новомодный ресторан. Фамилию он получил в наследство от своего дальнего предка, следовавшего в маркитантском обозе вслед за “непобедимой” наполеоновской армией. Унося вслед за императором ноги из Первопрестольной, он чуть не очоурился от морозов, но был пленен, тем самым положив начало новой, теперь уже российской, веточке французских торгашей. Его потомки из мсье превращались то в сударей, то в граждан, товарищей —

партийцев — в зависимости от эпох. Не менялась только маркитантская суть их профессий. Сам Михаил Семенович начинал в Кисловодских краях с малого. Благодаря протекции он выбилась в товаровед, отвечающего за деликатесные наборы для высших чинов страны, прибывающих на лечение в лечебницы Северного Кавказа. По нынешним временам перечень дефицитных продуктов той поры выглядят не слишком презентабельно: баночный балычок янтарной прозрачности, осетринка горячего и холодного копчения, икра и та, и другая, опять же копченый угорь, крабы в стекле и заморозке, розоватая лососинка в нарезке, плюс виски и сигареты “Мальборо”. При доставке жестяной ассортимент “сплющивался”, стеклотара “билась”, блоки сигарет “мялись”, а у иных товаров “истекал” срок годности. Вся усушка и утруска официально протоколировалась и распределялась по нужным адресам. Поэтому Семенович исправно повышался в должностях и был допущен к обслуживанию, как теперь говорят, вип-персон. В один из своих приездов Галина Брежнева возжелала отведать шашлычка из свежей баранинки. Ее вместе с Чурбановым отвезли на пленэр в горы, где на ее глазах и под бдительным присмотром охраны прикончили агнца. Пока мясо “мариновалось”, его подменили на точно такое же, но приготовленное заранее и прошедшее соответствующую медэкспертизу. Шашлык удался на славу. Чурбанов с барским снисхождением оделил обслугу чаевыми. Привыкший к хамскому обхождению Семеныч, тем не менее, почему-то именно за это подношение люто возненавидел сановного зятя Генсека.

В преддверии перестройки Михаила Семеновича повысили, и он отвечал за пропитание уже тысяч отдыхающих. Сливочное масло, сливки, вырезка изымались им из рациона отпускников. Сметана и творог разбавлялись кефиром. В котлеты добавлялась капуста с рисом, от чего они приобретали пышность и сочность. Трудящиеся массы, не подозревая о хищениях, набирались диетического здоровья, а изъятые у них продукты упаковывались в коробки и развозились куда надо.

Ресторан, стилизованный под уголок Монмартра, заполнялся гостями. Меж ними сновали кокетливые “парижанки”, одетые по моде времен реставрации Бурбонов. Официанты, обряженные в гусарские ментики, разносили на подносах бокалы с шампанским. На авансцену в белоснежных костюмах выдвинулись музыканты оркестра Олега Лундстрема. Перед ними эдакими кониками загарцевали юные от макияжа девицы, обтянутые до “раздетости” в лосины, в каскетках, украшенных триколорными розетками, с мамзелькой-тамбурмажором во главе. Гости рассаживались согласно именным билетам. Пора было начинать. Но пухлявый юбиляр скромного росточка, с усиками, как две капли воды похожий на повара из известной басни Крылова, укоряющего вороватого кота Ваську, словно кого-то выскивал среди приглашенных, не давая отмашки к началу торжества. Он вертел головой, словно оживая, что вот-вот за его столиком в услужливо изогнутой позе с накрахмаленной салфеткой на полусогнутой руке появится Чурбанов и полупешотом осведомится: “Чего изволите?” Но все закрутилось, завертелось как бы само собою и не по намеченному сценарию. Оркестр Лундстрема по наущению компаньона юбиляра, не лишеного чувства юмора, вместо оговоренного “Хепши бѣздей ту ю” грянул: “Многая лета!” Гости оторопели, не зная, как реагировать на подобный кунштштюк. Но юбиляр не прочувствовал подвоха, потому что все еще пребывал в своих воспоминаниях о памятном ему чурбановском шикнике...

Володя Горбатенко был нашим связным между Казаковым и Чурбановым. Сам он, конечно же, старался походить на первого. Забросив спорт, Горбатый отправился с геодезической партией бродить по тайге. Таскался по болотам с теодолитом, зверел от гнуса, заделался разнорабочим, а вернувшись в Москву, подобрал на помойке страховидное “лохнесское чудовище”. Отмыв собаченцию и вычесав ей колтуны, он нарек ее ласкательным именем “Несси”. Жил он теперь на Лесной, в глубине квартала, в доме, примыкавшем к Бутырской тюрьме. Он прихварывал и на природу не выбирался. Горбатый собирал шампиньоны на газонах. В свободное время он резал распятия. Друзья расхватывали их словно горячие пирожки. Владимир

заметно сдавал, но в свойственной “плешке” манере подтрунивал сам над собою:

— Ноги стали тоньше инженерских.

Ему подвернулся случай слетать в Мексику на международный турнир по вольной борьбе. Его отговаривали, пугая изнуряющим тамошним солнцем, потому что мы уже догадались о природе его болезни. Но он настоял на своем. После Мексики Владимир протянул три месяца. Он ушел из жизни, оставив после себя лишь заготовку с намеченным контуром Иисуса Христа. Деля оставленную в наследство двушку, его братья вдрызг переругались, и хлопоты, связанные с похоронами, взял на себя ходивший ранее в борцах Отари Квантришвили. Он крышевал тогда почти пол-Москвы и любил делать на публику широкие жесты. Доброхотные деяния были особенно нужны ему именно в тот момент, потому что он вынашивал идею создания партии “Спортивная Россия” и был заинтересован в привлечении на свою сторону спортивных звезд. Отари сам набросал текст открытого письма к Президенту России. Ему казалось, что особенно удачной получилась его концовка: “Мы понимаем, что спорт — не панацея от всех бед. И все же мы верим в спорт. Каждый из нас прошел через него. Мы были верны его идеалам и своей стране, защищая ее честь и славу на спортивных ристалищах мира, мы верим в понятия честь, верность и совесть и готовы преданно служить государству Российскому и Вам, Борис Николаевич. Кстати, Вы первый и единственный пока в истории России Президент — спортсмен, достигший профессионального уровня. Это позволяет нам считать Вас своим собратом. Обсудив это обстоятельство, Совет партии единогласно принял решение избрать Вас почетным Президентом партии. Несмотря ни на какие ветры, дующие на политических аренах, Вы избраны Президентом пожизненно”...

Когда на меня накатывает грусть по прошедшему, я открываю казаковского “Лесовика” (Москва, февраль 1976 года) и читаю его на сон грядущий своей детворе:

*наколи-ка, парень, дров!
ты получишь стол и кров:
стол дубовый с черным хлебом,
кров еловый с звездным небом.
я живу в лесу один —
хвойный царь и господин.
в бороде — седая сказка,
мне и месяц не указка,
видишь посох? он не прост,
это крестный летних верст,
а зимой в углу у печи
сам с собой заводит речи.
во дворе стоит колодец.
дятел сумрак приколотит
к запоздалому стволу.
ну а ты садись к столу!
сумрак пеший, сумрак конный
тихо вешает иконы,
как далекая гроза,
дарит елям образа.
лики с смуглыми чертами,
с скорбно-ласковыми ртами.
но сильна грибная ересь,
и, в еловом всем изверясь,
верят травам, верят мхам —
стеблям смуты и греха.
кушай мед из диких сот!
угол посохом трясет,
ночь несет еловый образ,
я зажгу свечу, раздобрюсь.*

*будет смута, час неровен.
где темнеют лица бревен,
пакля хмурая свисает,
кто-то пеший тень бросает,
тени тянутся к огарку,
угол темный, угол жаркий,
опершись на старый посох,
внемлет ночи теплых досок.
пни — лесные звездочеты
завтра мне расскажут что-то:
как качнулось коромысло,
расплескалось сколько звезд,
нет ли в том лесного смысла,
нет ли в этом хвойных верст.
может, посоху в дорогу
собираться понемногу?
поживи в моей избушке!
ты увидишь на опушке
свадьбы лунные грибные —
до утра звенят иные.*

Быть может, когда-нибудь, в светлом будущем, Владимиру Казакову воздадут должное, и тогда не чурбановых и отариков, а его вспомнят “тихим добрым словом”...

Свадьба Фигаро

Переведясь в Московский инфизкульт, я обзавелся другом со сдвоенным именем Игорь-Игорек. Занимаясь греблей, он попытался приобщить и меня к своему виду и даже уговорил разочек прокатиться с ним по “канавке” вдоль Болотной площади в двойке распашной без рулевого. Лучше бы сразу утопил. Ощущение у меня осталось такое, будто я гарцевал на оглобле. На том дело и кончилось. Жил Игорек в Старомонетном переулке, в одноэтажном строении — бывшей каретной мастерской, на задах храма святителя Григория Неокесарийского, в котором царь-батюшка Алексей Михайлович венчался с Натальей Нарышкиной. В советское время под сводами храма расположился всесоюзный художественный комбинат. Чуть поодаль от церкви приотпились бывшая богадельня для слепых и особнячок, принадлежавший когда-то купеческим женам Афимье и Ирине. Игорь оказался завязтым гулякой. В ресторане-поплавке, который был пришвартован почти что напротив “Ударника”, его принимали за таксиста. Он частенько заглядывал в “Чайку”, или по-простонародному “Крейсер”, чтобы побаловать себя пивком под надрывные песни цыганского хора, базовую основу которого составляли евреи со Сретенки. На момент нашего знакомства Игорь выступал для своих под личиной купца первой гильдии Мукия Парфеныча. По его задумке мне тоже следовало перевоплотиться в замоскворецкого лавочника. Свою деловую переписку мы обязались начинать с велеречивого обращения “милостивый государь”.

Переступив порог его хором, гость погружался в некую атмосферу, которой соответствовали резной сервант в драконах, копия картины “Сватовство майора” и пейзаж второразрядного передвижника, изобразившего унылую деревеньку с покосившимися избушками. Пробки от шампанского изрядно подпортили полотно, и оно нуждалось в предпродажной реставрации. На письменном столе вроде бы красного дерева громоздился бронзовый чернильный прибор. Антикварную обстановку дополняли старый рояль с выщербленными клавишами и мерцающая лампадка перед иконой Николая Угодника. Своих приятелей Игорь неизменно потчевал обжигающе горячей картошкой в мундире, хлебом-черняшкой и селедочкой, щедро сдобренной растительным маслом. Дверь в особнячке никогда не закрывалась, в том числе и на ночь, потому что к Игорю на ночёвку забредали персонажи разного пола и племени.

На тот момент Игорек переживал личную драму. Провожая в Воронеже подругу, решившую поступать в “Щуку”, некая дивчина расхрабрилась и махнула вместе с ней в столицу. Возвращаясь ранним утором из “Крейсера”, Игорек узрел на набережной растеряно озиравшуюся девицу. Слегка покачиваясь от переизбытка вышитого, Игорек почтительно изрек:

— Ну чо, пойдём?

Зоя, так звали очаровательную представительницу черноземья, узрев перед собою коренного москвича, схожего с Блоком, сомлела от обходительного обращения и ответила ему в том же “романтическом” ключе:

— Ну чо, пошли!

Я впервые свиделся с ней, когда она, утонув по плечи в кожаном кресле, укладывала свою загипсованную до паха ногу на подставленный костыль. Зоя на днях потерпела жизненное фиаско. Она неожиданно вспылала чувствами к итальянскому туристу, попала с ним в аварию и угодила с переломом ноги в Склиф. Очнувшись от наркоза, Зоя осознала, что больше всего на свете она все же обожает Игоря. Свив из простыни жгут, предприимчивая красотуля спустилась со второго этажа госпиталя и, поймав такси, примчалась вымаливать прощение. Их токование тонуло в общем гаме и сигаретном чаде. Чтобы соответствовать всеобщей веселости, я осушил для смелости рюмашку, рассказал пару анекдотцев. Но Зоя с ходу распознала во мне чужого:

— Игоречек! Он не наш!

Мой приятель не повелся на реплику, потому что устал от ее истерических признаний и почел за лучшее уединиться в соседней комнатенке, сосредоточившись на создании саги “Лучшие полжизни” о самородном гребце-удальце Вячеславе Иванове.

Вот с этим самым Игорем на занятиях по гражданской обороне мы и засели на “камчатке”, чтобы под прикрытием товарищей всласть наиграться в морской бой. Занятый подсчетом точечных ударов по эскадре противника, я не сразу сообразил, что меня вызывают к доске, расслышав лишь концовку его поучения:

— У солдата всегда имеется в достатке теплая водичка, чтобы быстро промыть затвор от песка.

Преподаватель в майорском чине воспринимался нами с иронией, потому что хлебом его не корми, а дай потягаться со студентами на руках. Верзилистый лектор проигрывал редко, ну а тех, кто не поддавался ему, терзал на зачетах. Пропустив из-за турнира по самбо “гражданку”, я оказался не в теме, и меня подставили ему. Я попытался было выкрутиться, заявив, что травмировал правый локтевой сустав и потому могу сражаться только левой. Думал, преподаватель откажется. Не тут-то было. Впрочем, здесь крылась хитрость. Моя уловка заключалась в том, что я прирожденный левша. С годами все, конечно, образовалось. Но потаенное отличие частенько помогало мне вводить в замешательство противников. Словом, майор схлопотал по полной программе, после чего стал цепляться ко мне по поводу и без.

— Оставьте его! — ни с того ни с сего запричитал Игорек. — Он от свадьбы на дочке Малиновского еще не очухался!

Пораженная новостью аудитория загудела, а майор на всякий принял стойку смиренно. Мне бы осадить друга, превратить все в шутку, но вмешалась какая-то нечистая сила, и я тоже понес околесицу про то, что узами, конечно, сочетался, но только не с родной, а лишь с вневбрачной дочерью. По тем временам заявления, порочащие честь и достоинство высших должностных лиц государства, тянули эдак годков на пять без права переписки. В аудиторию случайно заглянула абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике Татьяна Кравченко. И аудитория заголосила:

— Пентюх! Таньку надо было сватать.

Она тогда очаровала весь инфизкульт своей русой косой, уложенной короной на вскиннутой голове, и образом дивы, вкушающей исключительно амброзию. Татьяна, поняв, что попала не туда, испарилась, а я знай продолжал брехать про свою свадьбу.

— Вы только гляньте на его прикид! — не унимался Игорь.

Тут он попал не в бровь, а в глаз. На лекцию я заявился не как все — в спортивной форме, а в черном костюме из модного шевиота и в белой нейлоновой рубашке. Стильный галстук в косую полосочку придавал всему моему наряду модняцкий вид. В таком виде могли себе позволить появиться в стенах института разве что Валерий Брумель, которому было все нипочем, потому что ему покровительствовал сам Хрущев, и всегда одетый словно лондонский денди рекордмен мира в тройном прыжке Игорь Тер-Ованесян. Он славился среди нас не столько своими запредельными достижениями, сколько тем, что привозил из зарубежных вояжей вороха всяческих аховых штук-чек-дрючек. На его бордового окраса мокасины с бахромой, писк последней моды, сбежался смотреть чуть ли не весь наш курс. Мой случай был иного пошиба. Никто из присутствующих не подозревал, что именно этим снобистским набором на тот момент и ограничивался весь мой гардероб.

В ту пору спрос на тренировочную форму, особенно на синие костюмы из тонкой шерсти с фланелевыми белыми буквами “СССР” на спине, зашкаливал. Они приобретались за наличные в экипировочном центре Спорткомитета и строго по списку. Полного комплекта у меня никогда, собственно, и не было. Кое-что дарил отцу, что-то перепало брату. Последние треники пришлось отдать питерскому дружку Дзюбе. Вследствие чего я оказался “раздетым”, если не принимать в расчет серый бумазейный свитер, обвисавший на мне балахоном после тренировок. По случаю мне удалось приобрести шевиотовый костюм для выходов в свет и купить из-под полы нейлоновую полурукавку — ходовой товар по тем временам. Рубашка оказалась настоящей палочкой-выручалочкой. Ее стоило слегка прополоснуть в раковине, чуть отжать и повесить на плечики. Мгновенно высыхая, она не требовала дополнительной глажки. Но оказалось, что нейлон не пропускает воздух, и я весь покрылся подозрительными пятнами. Пришлось от нее избавляться.

Про “свадьбу” мы с Игорем и думать забыли, слегка подосадовав, что все очернили оборонного министра. Однако на военной кафедре рассуждали совсем иначе, судя по возникшему там напряжению. Стоило на тактических занятиях мне уронить указку, как ее бросался поднимать капитан, куратор нашей группы. Поэтому, срочно вызванный к начальнику военкафедры, я плелся к нему, мучаясь от мрачных предчувствий. Приземистый генерал, отягощенный “трудовым мозолем”, с порога отчитал меня:

— Солдатам срочной службы не положено учиться на дневном отделении! Или в отношении вас имеется специальное распоряжение? Впрочем, — он выдержал многозначительную паузу, — заполучить нужный документ в вашем нынешнем положении не составит труда!

Это была проверка на вшивость. Генерал ничем не рисковал. Представлю справку — извернется в политесе. Не принесу — вышибет из института в два счета.

Пришлось исповедаться Сергею Андреевичу. Он не ругался, понимая, что такого обормота даже боцманскими выражениями не проймешь, пообещав переговорить с начальником ЦСКА, полковником Новгородовым.

— Медведя на чемпионате мира в Иокогаме немец Дитрих укатал, — перевел он разговор на наши рельсы, — так что на следующий год в Америку пошлют тебя. Сдавай зимнюю сессию и бери академический отпуск — надо готовиться!

Справку, дающую мне право учиться на дневном отделении инфизкульты, я оставил у секретарши военной кафедры, дав себе зарок никогда более не ввязываться в подобные авантюры. Хрущев за свое правление много чего навывтворял, в том числе раскассировал военные кафедры в ряде вузов, в том числе и в нашем. Тем самым он как бы спас меня от неминуемого позорища. Так или иначе, но меня в конце концов разоблачили бы. До сих пор не могу понять, почему мы вляпались в эту свадебную аферу? Может, во всем виноват Брумель. Он женихался тогда с балериной Е. Рябинкиной, и наш институт лопался от слухов. Конечно же, эта авантюра была следствием моей наивности. Игорек, учитывая, что я выезжаю за границу, попросил достать ему марки. Обегав всех знакомых, я выпросил у одной девицы альбом с пятью тысячами марок, отображавших эпоху Осоавиахима, Папанинских дрейфов,

Стахановского движения. Когда я приволок Игорю этот пудовый фолиант, он от досады чуть не пришиб меня им. Однако наша свадебная история имела свое трагикомичное продолжение.

Дядю Федю, маминого младшего брата, в нашей семье всегда привечали. Приписав себе год, он ушел на фронт в 1943 году. О военных буднях упоминал неохотно и как бы вскользь. Мне запал в памяти один из эпизодов, рассказанных им. Перед Яско-Кишиневской операцией его взвод целый месяц просидел в траншеях, довольствуясь лишь мамалыгой, и вконец обдристался. Поэтому, когда его бойцы ворвались в немецкий блиндаж и увидели на столе брошенную в спешке фрицами чесночную колбасу и термос с еще теплым эрзац-кофе, атака захлебнулась. В замиренной Австрии, благодаря бравой выправке и боевым наградам, его зачислили в комендантский взвод. Заехав погостить в Ленинград, он поразил мое юное воображение своим лейтенантским обликом: блеском погон, перекрестьем скрипучих портупейных ремней, пашкой, пистолетом в кобуре, а еще и тем, что попросил сбежать ему за свеженьким пивком.

Отец вскинулся от его бюргерской замашки. А я, воспользовавшись их пикировкой, вытащил из положенной на тумбочку кобуры наган, смылся на кухню и попытался взвести курок. Силенок моих не достало, и побабaxать по кастрюлям не удалось. Дядю Федю со временем перевели в Осетию. Вплоть до выхода на пенсию он работал в городском военкомате Орджоникидзе. И мама частенько спроваживала нас с братом к нему на Северный Кавказ погреться на солнышке. В его семье нам особо не докучали, и, пользуясь свободой, мы убежали на Терек, где нас ждала развеселая гоп-компания. В нее принимали только тех, кто отваживался переплыть реку. Она капризно меняла русла, намывала отмели, ворочала валуны. Никто из рискующих переплыть Терек не знал, наткнется ли он пузом на обкатанную булыгу или ошкрябается о невесть откуда взявшуюся заусенчатую каменюку. Но мы сигали в буйное течение реки без оглядки. Терек сносил нас словно щепки к железнодорожному мосту. Песок, набившийся в волосы, вздыбливал прически так, что, обсохнув, мы походил на ирокезов.

Мы встретились с дядей Федей много позже. Он дослужился до полковника. Переступив порог моей квартиры, он напустился на меня:

— А еще племянничком называешься! Хоть бы намекнул, что на дочери Малиновского был женат! Глядишь, и я бы в генералы вышел.

Армейская Конюшня

В Москве, на Ленинградском шоссе, под боком у Ходынки расположился Центральный спортивный клуб Армии. В начале семидесятых это было почти городским предпольем. С ипподрома, акватории речного порта, Тушинского аэродрома, Химкинских лесов до клуба доносились запахи далей. Сам клуб, с незатейливыми цветочными клумбами, походил на хутор. За фасадом скромного двухэтажного административного здания, если смотреть с улицы, за кронами деревьев были почти не видны плавательный бассейн и гимнастический ангар. Борцам вольного стиля в нем отвели небольшой зал на втором этаже в торце здания. Точно такой же, но предназначенный для тяжелой атлетики, располагался внизу. Тренерская каморка размещалась меж этажей. Она предназначалась персонально для Юрия Власова, его тренера Богдасарова и для Преображенского. Благодаря протекции Сергея Андреевича в святая святых получил доступ и я.

Ну, а что насчет “конюшни”? Свое прозвище спортсмены рабоче-крестьянской армии получили в тридцатых годах прошлого столетия, потому что размещались в конюшнях бывшего графа Юсупова. Кстати, спартаковцев, принадлежащих к промкооперации, именовали “торгашами”, а торпедовцев, приписанных к ЗИЛу, дразнили “слесарями”.

Утро у меня начиналось с кросса. Стартовав от ворот воинской части, я добегал до Пироговского водохранилища и трусил обратно. На скорую руку позавтракав, спешил на электричку. На Савеловском вокзале втискивался в автобус, ехал до Новослободской и по кольцевой доезжал до Курского

вокзала. Сокращая дорогу, сигал через рельсы подъездных путей и, протиснувшись в пролом в бетонном заборе, оказывался в парке своей альма-матер напротив каменных львов, охранно возлежащих на портике обветшавшей Шереметьевской усадьбы.

В инфизкульте практические занятия по конькам, хоккею, лыжам, боксу, легкой атлетике или баскетболу чередовались в зависимости от сезона. Так что нагружался я прилично. Обедая в студенческой столовке, чаще всего брал гуляш с мучной подливкой, на гарнир тушеную капусту, стоившую копейки, и на сладкое компот с яблочными ошметками. За хлеб, согласно хрущевской политике, денег тогда не брали, ешь сколько влезет.

После лекций я добирался до клуба, заваливался на диван в “штабной” каморке, укрывшись флотской шинелью тренера, и спал час-другой. Разбудить меня могло только появление Юрия Власова. Сквозь прищуренные веки я украдкой наблюдал за переодеванием самого-самого могучего человека планеты, всякий раз поражаясь его торсу, разлету плеч, лобастой голове. Комнатенка была явно тесноватой для его габаритов...

После Римского триумфа Власов встал вровень с Гагариным, Фиделем Кастро, Ван Клиберна. Сокрушив представление о физических возможностях человека, Юрий как бы огорошил обывателя. С его появлением интеллигентские подковырочки типа: “В семье было три сына, двое умных, а третий футболист”, “Сила есть — ума не надо”, “В здоровом теле — здоровый пук”, — стали восприниматься как натяжки.

Догадываясь о его масштабности, мы хотя бы в мелочах старались походить на своего кумира. Он увлекся охотой, завел жесткошерстного курцхаара, писал книги, трибунил, ну и мы, всяк на свой манер, пустились подражать ему. Я умудрился проторить стежку-дорожку в “Советский Спорт”. Получил свой первый гонорар, и мы с тренером обмыли это эпохальное событие. Мэтр ресторана “Будапешт” посоветовал нам попробовать их фирменное блюдо — венгерское жаркое, намекнув, что оно рассчитано на четыре персоны. На деревянной подставке, принесенной нам, высилась горка краснокочанной капусты вперемешку с печеным перцем, помидорами, баклажанами, отварной стручковой фасолью и чем-то не менее овощным вкупе с со свиными отбивными. Мы быстрехонько все умяли... Когда заказали то же самое блюдо в третий раз, в зал заглянул шеф-повар, чтобы поглазеть на троглодитов.

Толя Колесов, средневес-классик, повел себя иначе. Он разродился заявлением, что подобно Власову непременно добьется звания чемпиона мира, и зачем-то приобрел себе двустволку, точно такую же, как у знаменитого штангиста. Но всех обошел Горбатый. Подражая Юрию Петровичу, он обзавелся вислоухим щенком с печальными глазами, который довольно скоро превратился в баскервильское страшило. Дог спал на подстилке рядышком с прохрудившимся кожаным диваном, охраняя покой своего обожаемого хозяина. Когда ему наскучивало моститься на жестком полу, собака забиралась на диван между хозяином и стеною и, распрямив ноги, спихивала долу мирно посапывающего Горбатенко. К рассвету Владимир обнаруживал себя на подстилке, а дога блаженно распростертым на диване.

Власов иногда снисходил к нам, разрешая просочиться к нему в зал, с условием вести себя ниже травы, тише воды. Мы с придыханием следили за тем, как чемпион ворочает железо. В паузах между подходами он крупными шагами мерил зал. За ним с лицом аскета следовал Сурен Богдасаров. У него были какие-то семейные нелады, и основываясь на личном опыте, он учил нас премудростям холостяцкого быта: во избежание язвы желудка питаться исключительно молочными продуктами. В уголке зала, за шатким столиком, поблескивая стеклами очечек, делал какие-то пометки в тетрадочке “человек в футляре”, такой весь незаметный тихоня, выраженный в цивильный костюм. Он тщательным фиксировал количество подходов Власова к штанге, взятый им вес, паузы в тренировке, словом, стряпал свою докторскую диссертацию. Заканчивая занятия, Юрий нанизывал на кожаный пояс гири. Застегнув ремень, он просовывал в образовавшуюся петлю ступни ног и отжимался на параллельных брусьях. После его ухода мы пытались

проделать то же самое. Но никто из нас так и не смог приподнять связку гирь хотя бы на сантиметр от пола.

Поднявшись в свой тренировочный зал на втором этаже, мы окунались в родную стихию. Сергей Андреевич избегал шаблонных занятий и не терпел нудной натаски. У него ко всему был свой подход. Показав общепринятый вариант мельницы, Преображенский предлагал нам приспособить ее под себя. Его доводы были предельно просты. Все люди разнятся между собою в росте, силе, выносливости. А раз так, то любой прием, словно костюм, требует индивидуальной подгонки. После такого посыла мы пускались во все тяжкие: спорили до хрипоты, огорчались провалам, ликовали от удачных находок. Обуянный творческим порывом, я оставил от мельницы лишь рожки да ножки. В броске, подлезая под противника, почти касался ковра лопатками. По тогдашним правилам даже непредвзятый арбитр вправе был засчитать мне туше. Исходя из этого, мое изобретение окрестили “самокладом” и отвергли.

За тренировку у меня сгорало около трех килограммов живого веса, и губы к концу занятий спекались. Открутив в душевой кран, я жадно ловил ртом струю и пил воду до той поры, пока она не начинала булькать в желудке. Утолив жажду, бросал на решетчатый поддон свитер и устраивал постирушку, немилосердно топча его ногами. До своего жилья в Долгопрудном мы с Сергеем Андреевичем добирались поздно вечером на его чиненой-перечиненной машине, прозванной “Маруськой”. Именно так Преображенский именовал свою старенькую, но надежную “Победу”. За рубежом, учитывая толщину прокатного листа для штамповки корпуса автомашины, ее называли танком.

Испробовать свой вариант мельницы в боевых условиях мне удалось полгода спустя на первенстве Вооруженных сил, проходившем во Львове. В финале жребий свел меня с Веденяпиным. Прежде он выступал в тяже за сборную ЦСКА, но с моим переездом в Москву вернулся к себе на Западную Украину. Приземистый, бирюковатый, перед самой схваткой он нехотя признался мне, что местные не простят ему чистого проигрыша. Видно было по всему, что этот разговор дался ему непросто. Боролись мы шалаяй-валяй, изображая для простачков активность. И тут случился казус. В тот момент, когда мы сместились к краю ковра, что-то швырнуло меня под Веденяпина. Он выбросился за ковер. Но судья то ли зевнул, то ли вожжа ему под хвост попала, засчитал львовянину чистое поражение. На мою беду, арбитр был наш, армейский, и славился тем, что заставлял учеников по четвергам тренировать волю! Я бросился убеждать его, что туше не было, и что бросок пришелся за ковер. Ничто не помогло. Веденяпин сошел с помоста, не подав мне руки. Объясняться с ним не имело смысла. Не мог же я переложить вину на свой мозг, помимо моей воли пославший меня в атаку. Можно мне не верить, но так случается. Именно после этого постыдного недоразумения я наконец-то обрел то, что годами вымучивал на тренировках, — свой стиль борьбы.

В наших буднях мы умудрились заделаться киношными каскадерами. В ту пору подобной профессии не существовало. И если сценарием предусматривалась потасовка, то обращались в спортклубы, чаще к нам, тем более что у нас с кинематографом была теснейшая связь благодаря Алексею Ванину. На первенствах страны по классической борьбе Алексей постоянно оказывался в призах. Видный собою, яркий представитель недюжинной крестьянской породы, утраченной сегодня настолько, что многие едва ли поймут, о чем, собственно, ведется речь, он сразу приглянулся режиссерам. Роль главного героя в киноленте “Чемпион мира” оказалась для него входным билетом в большой кинематограф. Вначале он пристраивал нас сниматься в простеньких учебных кинолентах о действиях боевых подразделений в городских условиях. Переодетые кто в немецкую форму, а кто в красноармейскую, мы лупцевали друг дуга в свете юпитеров почему зря. Меня поразило, что в немецкой каске я выглядел фриц фрицем, а в нашей обмундировке чуть ли не панфиловцем. Рисуюсь перед кинокамерой, мы картинно сокрушались на своем пути всех эсэсовцев подряд. Но из рассказов фронтовиков я точно знал, что они расчищали себе путь с помощью гранат, а не бросков через спину с прогибом. Свои сомнения мне было некому высказать, тем более что вскоре Ванин зазвал нас сниматься в настоящем боевике под названием

“Золотой эшелон”. Фильм повествовал о части золотого запаса Российской империи, коварно захваченной в неразберихе гражданской войны колчаковцами. Сцен с мордобоями, рукопашными схватками, с пальбой было предусмотрено в сценарии предостаточно. Так что с нами обращались словно с профессиональными актерами, тут тебе и гримеры, и накладные бороды, и подбор шинелей или белоказацких полубубков по фигуре. Рукоприкладством мы тешились до самозабвения. А так как дублей хватало, то киноактеры, задействованные в кровавых эпизодах, старались сдружиться с нами во избежание травм, не совместимых с киношной профессией. В минуты отдыха мы фотографировались развлечения ради. Белоказаки фоткались с красногвардейцами и по раздельности, и по классовому признаку. На одном из таких фото я снялся в папахе, с наклеенными усами и в шинели староремимного образца. Скольким знакомым, подсунув семейный альбом и напустив на себя ностальгическую тоску, я говаривал:

— А это мой дедушка в гражданскую. Правда, мы с ним похожи?

На съемках “Золотого эшелона” Алексей Ванин сдружился с Василием Шукшиным, игравшим в фильме одну из главных ролей. Родились в Алтайском крае, оба от земли, оба по столичным меркам лимита. До сих пор досаду, что Алексей не догадался свести меня со своим земляком. Хотя на тот момент я едва ли мог заинтересовать Шукшина. Но у судьбы свои прихоти.

Уделом Ванина были роли второго плана, но зато какие! Стоит вспомнить хотя бы любимую многими “Калину красную”. Грянувшая перестройка положила конец его кинематографической карьере. Он, изредка появляясь на борцовских турнирах, выглядел чуточку старомодно, но всегда подчеркнуто элегантно: строгий костюм, наглаженная белая рубашка, галстук. На трибуне я приседал к нему, чтобы наговориться по душам, но нам то и дело мешали. И мы условились встретиться в иной обстановке. Мне хотелось порасспросить его о Шукшине, особенно о последних днях его жизни. Дело в том, что Ванин обмолвился в узком кругу, что официальная версия внезапной кончины Василия Макаровича — заведомая ложь. Но наша беседа по разным причинам все откладывалась и откладывалась на потом...

В его однокомнатной квартире на задворках Алтуфьевского шоссе некуда деться от нависшей над Москвой адовой жары. Спасаясь от зноя, Захарыч вышел подышать “свежим” воздухом на завешенный для затенения простыней балкон. Жена, встревоженная долгим отсутствием мужа, обнаружила его лежащим на полу в полубморочном состоянии. “Скорая помощь” ехала к нему шесть часов! Популярный шоумен Андрей Малахов, знавший Алексея Захаровича лично, посвятил его трагическому уходу телепрограмму. И только там, увидев кадры документальной съемки Ванинской однушки, я понял, в какой запредельной бедности доживал свой век фронтовик, легендарный борец, известный киноактер: облупленные обои, разохшаяся гэдэровская мебелишка, колченогий стул. На исходе своих дней у него не оказалось ни денег, ни сил, чтобы привести квартиру в пристойный вид. Но самым страшным для меня открытием было известие о том, что его беззастенчиво ограбили, когда он, получив в сберкассе пенсию, возвращался домой. Пережить такое унижение — ему, не боявшемуся подняться в атаку в полный рост, — было не по силу. На своих дачных сотках Ванин соорудил некое подобие блиндажа и проложил к нему ходы сообщения, чтобы держать от воря круговую оборону...

Цыганка Аза

Под Подольском, в укромном лесистом уголке, обнесенном крепостным валом, возведенным для защиты от степных набегов, приютился особняк, украшенный витиеватой лепниной, когда-то принадлежавший знаменитому богатею-булочнику. Пышные калачи из его пекарни доставлялись курьерами в Санкт-Петербург прямым к столу Его Императорского Величества. Однажды миллионщик чуть не осрамился. Московский генерал-губернатор за завтраком, разломив сдобу, обнаружил в булочке некую скукоженную суть, схожую с сушеным тараканом. Хозяин заведения булочник Филиппов,

вызванный градоначальником для разбора с пристрастием, заверил их Высокопревосходительство, что сие есть вовсе не насекомое, а изюм, и на глазах разгневанного градоначальника проглотил подозрительное вкрапление. Так на свет появился филипповский “бренд” — булочки с изюмом...

За особняком Филиппова под крутым скатом течет извилистая речушка с удивительно неэстетичным прозванием Моча, хотя не совсем понятно, где ставить ударение. В жаркие дни ее запруды дарят прохладу, а хороводы березовых рощ заманивают отдыхающих грибным раздольем. После революционной экспроприации особняк передали профсоюзам. Затем его профиль поменяли. Вокруг да около особняка настроили тренировочных залов. Летом одна тысяча девяносто шестидесятого года именно на этой спортивной базе и проходила подготовка олимпийцев к Римской Олимпиаде.

Горбатенко поселили в дощатом павильоне, кое-как приспособленном под жилье. Промаявшись ночь под тощим байковым одеялом, он вывел карандашом над изголовьем своей постели “дацзыбао”:

*Вот у этой тонкой стенки
Я однажды так продрог!
Рядовой В. Горбатенко.
Да поможет ему Бог.*

Видимо, до Всевышнего дошли его вопли, так как Преображенский переселил Владимира в основной корпус. В наших четырехместных апартаментах временно освободилась койка Лехи Колесника. Накануне мы от нечего делать пинали мяч на стадионе, благо до спаррингов оставалась еще уйма времени. Погода выдалась на заказ: развеселое солнышко, щебечущие птички, муравистый клевер, устилавший зеленым ковром футбольное поле. Для полноты ощущений решили погонять в футбольную босиком. Леха, прыгнув мяч, ойкнул. Зараза-пчела ужалила его в большой палец стопы. Он осел на траву, но другая стервоза тут же вонзила свое жало ему в зад. У Лехи перекошило лицо, и губы приобрели фиолетовый оттенок. На его счастье, “Скорая” не заставила себя долго ждать...

Перед отбоем в нашу комнату по расписанию заглядывает психолог. Все в нем — профессорская борода, курчавая шевелюра, курительная трубка, глаза, увеличенные толстыми стеклами черепаховых очков до размеров маслин, — соответствовало его чревоушительному специалитету. Мы звали психолога по-разному, кто Киселевым, кто Юрой, кто Яковлевичем, в зависимости от сложившихся отношений. Он казался гораздо старше нас из-за своей курчавой шапки волос и ассирийской бородки. Мы сразу приняли его на распах.

— Приступаем к сеансу аутогенной тренировки, — грудным голосом забасил Яковлевич.

Собравшийся было отходить ко сну Борис Гуревич забубнил себе под нос что-то издевательское про шарлатанов. У киевлянина давно накипело против всяких там научных бригад. Они слетались к нам на сборы, словно грачи на распластаный трактором чернозем, чтобы наклевать дождевых червей. “Научники” опутывали нас проводами, брали кровь на анализы, измеряли давление, снимали кардиограммы и, запасаясь диссертационными данными, отбывали восвояси, уступая место очередным соискателям кандидатских званий.

— Видали таких, — поддержал его Сашка Медведь, — тоже мне гипнотизер, астролог, гадатель на кофейной гуще.

— Если мешаю, то могу и удалиться, — как можно более примирительно отреагировал на общий настрой психолог, выказывая чудеса выдержки. Мне же было любопытно, заглянув за спину Яковлевича, обнаружить там атрибуты фокуса-покуса: столик, волшебную палочку и черный цилиндр мага.

— Вам следует научиться расслабляться, засыпать в нужное вам время, чтобы быстрее восстанавливаться после нагрузок. Итак, ложимся на спину, — успокоительно продолжил Киселев, — и постараемся проникнуться словами: я чувствую себя... совершенно спокойным... лицо спокойно и неподвижно... руки начинают теплеть... пальцы тяжелеют...

Голос Яковлевича, становясь все глуше, отдаваясь, как бы растворяется в пространстве. У меня возникает ощущение, что я впадаю в дрему, не теряя при этом способности различать предметы, слышать шорохи. Вот на цыпочках вышел из комнаты, тихо скрипнув дверью, психолог. От моего скованного тела отделилась некая прозрачная оболочка. Следуя изгибам мраморной лестницы, она воспарила на второй этаж, перетекала в будуар, расписанный игривыми амурами, которые, завидя ее, принялись устилать паркет лепестками роз. На сторожевой башне надрывно закричал махальщик:

— Едут! Едут!

На флагштоке взвился штандарт. В крепостные ворота, трезвоня бубенцами, влетела тройка. Откуда-то вынырнули гитаристы в ярко-красных атласных рубахах с подпояской. Гитары, словно разомлевшие на солнышке коты, замурыкали слова величальной:

— К нам приехал, к нам приехал наш Филиппыч дорогой!

“Дорогому” на лакированном китайском подносе, попавшем в здешние края, наверное, еще по Великому шелковому пути, поднесла рюмочку наливочки сама Аза, смуглая черноокая красавица, купленная у табора за мониста, цветастые шали и хрусткие ассигнации. Мне не удастся разглядеть ее лицо, потому что Горбатый дурашливо завопил:

— Поднимите мне веки... они грузные и теплые... ах, простите, теплые и грузные.

Я было попытался согнуть ноги в коленях, но не мог ими двинуть. Ерничай ни ерничай, а Юрочка, все же, был профи, но как выяснилось много позже — с червоточинкой. Наш Фрейд, втираясь в доверие, притворялся эдаким покладистым хомячком-добрячком... пока не обчищал под пустую закрома доверившихся ему людей. А затем с концами испарялся.

Начальство всех мастей засуетилось, занервничало, потому что на базу вот-вот должен был нагрянуть с инспекцией сам Н. Н. Романов, министр спорта еще сталинских времен. И только Г. И. Усенин, “начштаба” сборов, ничуть не переживал. Он не понаслышке знал истинный характер Николая Николаевича.

Усенин мечтал до войны поступить в инфизкульт и добился бы своего, кабы не мина, раздробившая ему стопу в боях за Болгарию! Хирурги ампутировали ему ногу по голень. С горя он решил податься в сельхозтехникум. На втором курсе, вычерчивая кривизну яйценоскости, Геннадий осознал, что его занесло совершенно не туда. Усенин записался на прием к самому Романову. Тот принял его без всяких обиняков, внимательно выслушал и наложил резолюцию на его заявлении: “В порядке исключения к вступительным экзаменам допустить!” Со временем из Усенина получился толковый оргработник. Он не заматерел. На пляже, отстегнув протез, сражал отдыхающих дам всевозможными гимнастическими трюками, покорял их сердца виршами, а сотоварищей взбадривал приказками, иногда и солеными.

На “министерских” смотринах мы с Александром Медведем возились в сторонке от начальственных глаз. Так решил тренерский совет. Медведь бодался с Женькой Максимовым. Его не включили в состав сборной, и он, в свою охотку, прямым из Москвы прикатывал к нам на велосипеде. Отработав свое на ковре, Женька отбывал восвосяи, накручивая на велике за раз более сотни километров. Его железная выносливость вызывала у многих оторопь, как и весь Женькин образ жизни. Зимой он ходил в пиджачке нараспашку, стригся под ежик и всем водным процедурам предпочитал обтирание снегом. Закончив холодрыжное обмывание, он обильно sprыскивал себя “Шипром” и после этого считал гигиеническую процедуру законченной. Сломить эту стоеросовую махину удавалось не каждому, разве что Медведю, который подобрал к нему ключик. Вот и сейчас Сашка попутал Максимыча ложными проходами в ноги, а затем повис на его шее. Евгений, набывчась, пытался разогнуться. Но Медведь согнул его в баранку и промокнул спиной Максима ковер. Следя за их схваткой, я лишь радовался, что на сей раз меня избавили от необходимости бодаться с эдакой колодиной.

Нас с Медведем и таких же, как мы, подающих надежды молодцев, вызвали на подольскую базу в качестве спарринг-партнеров. Основной состав

целенаправленно натаскивали к Италии, и они оттачивали на нас приемы. С поставленной задачей мы с Александром более или менее справлялись, хотя порою азарт сносил нам предохранительные клапаны. Поэтому Савкудз Дзарасов, оберегая свое реноме, предпочитал якшаться с нами как можно реже. Про себя я называл его “Нероном”. Профиль у него был сугубо императорский, а статная дородность придавала каждому его движению диктаторскую властность. Обладая некоей степенью свободы, мы с Сашкой устраивали междусобойчики. У нас с ним было много схожего: оба родились на “ридной нэньке Украине” в один и тот же год, вместе тянули армейскую лямку, рост и у него, и у меня баскетбольный, хотя выглядели мы непростительно худосочными для серьезной тяжеловесной категории. Между нами, конечно же, существовали и различия. Медведь предпочитал подавлять соперника напором. Перед схваткой он походил на борзую, рвущуюся с построжки в предвкушении посылы. И еще его отличала от меня цепкость. Дай волю — загрызет, затаскает любого на ковре. Он как-то обмолвился, откуда у него такая хватка. Его отец нередко заявлялся домой подшофе и тумачами принимался вразумлять жинку. Сашке исполнилось четырнадцать, когда батяня забузотерил в очередной раз. Спасая мать от побоев, Александр клещом вцепился в отца сзади, осознавая, что если батя стряхнет его с себя, то от него останется мокрое место.

Савкудз провел показательный бой играючи. Удачно справились со своими противниками и остальные претенденты на поездку в Рим: Али Алиев, Володя Рубашвили, Михаил Шахов, Георгий Схиртладзе.

Раздав задания свите, министр самочинно обследовал базу. Он заходил в комнаты спортсменов, заводил с ними разговоры о том о сем. Проверил, как обстоят дела с кормежкой, и уехал под вечер, нутром матерого чиновника почувствовав грехи, но оставив разборы полетов на потом, по итогам олимпиады. Тренерский штаб вздохнул с облегчением. Особо воспарил духом наш главный наставник, любитель устраивать в пионерских лагерях показательные выступления. В них в основном он задействовали поколение “некст”, то есть нас. Показухи проходила по одному и тому же сценарию. Гимнастические маты в количестве четырех штук укладывались на дощатом настиле танцплощадки. Мы, изловчась, демонстрировали на этом разбегжающем пятачке каскады бросков. Главный так упивался происходящим, что всем становилось ясно, какой гениальный пионервожатый пропал в его лице. В отместку ему мы занялись дуракавалянием, избрав в качестве жертвы братьев Держжановских. Высокие блондины шляхетских кровей ни в чем плохом не были замечены, если не считать мелочей. Близнецы держались особняком и с упоением зачитывались греческой мифологией, обсуждая сутками напролет, зачем Гера вступила в брак с мрачным чудовищем Тартаром и произвела на свет стоголового урода Тифона. В столовую братья всегда заявлялись в отутюженных костюмах, чем вызывали глухое недовольство нас, охланов. Чистюли они были первостатейные. План воспользоваться их тягой к ухоженности выработался сходу. На утренней пробежке, обгоняя близнецов, следовало с невинным видом пробросить буквально в никуда реплику о тошнотворном запашке, исходящем непонятно откуда и от кого. То же предельвалось при якобы случайном появлении в их комнатенке. Мы не оставляли их в покое ни в раздевалке, ни на тренировке. И они не вылезали из душевой, сдирая с себя кожу мочалкой, стараясь избавиться от дурных запахов. Не знаю, чем закончилась эта забава, не случись беда со мною. На первый взгляд все дело не стоило выеденного яйца. Серега по заведенному им порядку привез на базу подопечный молодец. Родители снабдили их тушенкой, макаронами, рисом и всякими иными крупами. На берегу Мочи мы соорудили вигвам из жердей, покрыв их лапником в два слоя. Пристанце для них получилось вполне сносным. Полдня ребята самозабвенно следили за схватками асов, а в паузах сами вылезали на ковер покувыркаться. Иногда нам везло. Зубры снисходили к ним, беря на себя роль наставников, и обе стороны оказывались довольны собою. Днем парнишки плескались в реке, ловили руками под корягами рыбу, загорали. А вечерами начиналось самое то. Взметая искры, пылал костер, в котле доходила до нужной

кондиции гречка, а Сергей Андреевич самозабвенно читал им О'Генри. Затем наступал черед Горбатенко. Он расчехлял гитару и выбренькивал на ней незамысловатые песенки собственного сочинения. Испеченная на углях картошка, пахнувшая дымком, завершала ужин и вовлекала всех в нескончаемый спор: считать ли хищение клубней на колхозном поле озверством или уголовкой?

В вигваме "старшие" появлялись не с пустыми руками. После ужина чего только не оставалось на наших столах: кефир, брусочки масла, колбасная нарезка, просто хлеб. Все остатки относились ребятам. Они, конечно же, радовались такому приварку.

Тот памятный мне вечер не таил в себе ничего особенного. Все шло своим чередом. Я набрал пакет всякой снеди. Неожиданно на меня фурией налетела официантка и, захлебываясь от гнева, потребовала, чтобы я всю еду выложил обратно на стол, мотивируя тем, что за недостачу бутылок из-под кефира она расплачивается своими кровными. Резон в ее словах присутствовал, и я предложил ей разойтись миром, положив на стол пятерку, которой хватало за глаза, учитывая десятикопеечную стоимость стеклотары. С тем и ушел, сопровождаемый ее истошным криком.

Утром меня вызвал президент Федерации Алексей Захарович Катулин. Приземистый, косолапистый, обладатель железной хватки, он в предвоенное десятилетие, поколесив по Германиям, Швециям, Франциям, Турциям, Финляндиям, провел 86 поединков, не проиграв ни единой схватки. В Великую Отечественную партизанил. Контуженным попал в плен. Бежал из концлагеря. Его ловили, били, бросали в карцер. Удачной оказалась лишь четвертая попытка. Только Николай Королев, легенда бокса, скептически относился к его побегам. Королев тоже воевал за линией фронта, ходил в разведку, охранял прославленного партизанского командира Дмитрия Медведева, основу отряда которого составляли бойцы НКВД. Прикрывая в бою раненого командира, Королев ухлопал нокаутами пяток фрицев. Знаменитый боксер, будучи далеко не первой молодости, припадая на ногу, все рвался на ринг остудить пыл восходящей чернокожей звезды Кассиуса Клея. Когда в парилке бассейна, сооруженного на месте взорванного храма Христа Спасителя, я ненароком упомянул о подвигах Захарыча, он осадил меня:

— Стреляться надо было Алешке, стреляться!

Он произнес свой приговор с таким нажимом, что у меня не осталось никаких сомнений — свой последний патрон он использовал бы по назначению. Что и говорить, крут был мужик!

— Говорят, ты официантку матом обложил? У нее давление подскочило, врача вызвали!

Я рассказал Алексею Захаровичу, как все было, а про мат добавил, что вообще не ругаюсь.

— Ну, ты же понимаешь, — раздумчиво произнес Катулин, — поверят представителю рабочего класса, а не тебе. На построении решим, что с тобой делать, отчислить со сборов, урезать стипендию или ограничиться нагоняем!

Меня пропесочили перед строем, тем все и закончилось. За своей обидчицей я потом наблюдал издали: тощая, с висюльками шестимесячной завивки, издерганная. Наверняка безмужняя, с ребенком, а то и двумя на руках, которых надо прокормить на жалкую зарплату. Ее поступок был понятен. Но меня удивило другое. Я впервые столкнулся с поразительным явлением — оказывается, можно солгать, искренне уверовав в свою ложь.

Первые номера, настраиваясь на олимпиаду, иногда срывались на нас. Трофима Ломакина, отчаянного кураку, чемпиона Хельсинкской олимпиады в среднем весе по штанге, ни с того ни с сего понесло, и он начал на всех углах кричать, что прищучит любого борца, раз поднимает на вытянутых руках вагонную ось. Его подловили на слове, подставив ему потехи ради "мухача" Федю Бабинича. Он выглядел заморышем, но ловок был, бестия, и нахален необычайно. Ловко ускользая от лобовых атак Трофима, Федька ухайдокал его до одышки, а затем, зацепив стопу Ломакина, распластал его на брюхе. Сгонщик так отмотал ему руки, что чемпион на несколько дней вообще потерял интерес к штанге.

Анатолий Парфенов, олимпийский чемпион Мельбурна по классической борьбе в тяжёлом весе, затурканный спаррингами, занялся самолечением. На крепостном косогоре, буйно поросшем разнотравьем, переваливаясь с боку на бок, он предпринял “охоту” на пчел. Ему редко сопутствовала удача, потому что он не ловил их, а придавливал своими негнущимися пальцами. Уцелевших особей он сажал на поясницу, пытаясь с помощью их жал избавиться от радикулита. Я наблюдал за его потугами с сочувствием. При форсировании Днепра пулеметчика стрелкового гвардейского полка Парфенова ранило в локтевой сустав. В общем, его за войну дырявили пять разков: три попадания в голову, при двух контузиях, затем в локоть и колено. Орден Ленина вручили после войны. Чего ради забрел на прядильно-ткацкую фабрику тренер по классической борьбе, история умалчивает. Заприметив у станка двухметрового детину о восьми пудах веса, тренер чуть ли не силком затащил Анатолия в спортзал. Всяким там борцовским хитростям учить его было поздно. Собственно, он в них особо-то и не нуждался. Облапив противника, Анатолий ломал супостатов под себя, и вся недолга. Природа наделила его лицом душегуба. Недаром из десятков претендентов на роль гестаповца в кинофильме “Семнадцать мгновений весны” выбрали именно его. Пласты грудных мышц, решетка брюшного пресса, бульжанные бицепсы Анатолия поражали. На мой вопрос, откуда у него такая навесная “броня”, Парфенов бесхитростно ответил:

— Ты бы, Сашок, помахал косой с мое!

О крестьянском труде я знал не понаслышке, и мне была понятна его тяга к пахоте, желанию обзавестись коровенкой. Мне казалось, что между нами возникло некое чувство, сродни симпатии. Он обучил меня защищаться от накатов. Я усвоил его науку настолько, что Парфенов охотно возился со мною в партере. Он даже “позволял” мне забрать его руку на “ключ”. Но, как только он чувствовал, что я вот-вот заведу ее ему за холку, Парфенов поводил богатырским плечом, и меня сносило с его спины, словно назойливую муху. При этом — оба получали удовольствие. Я от того, что не каждому удавалось подломить под себя такую лапшу, а он, скорее всего, от ощущения своей могучности. А еще он не терпел, когда катили бочку на прошлое:

— Меня никто не заставлял писать на снарядах: За Родину! За Сталина! Сына на Паулоса не променял. Ваську, если заслужил, — гнобил. И не греб под себя! Рассказывали, что ему бюро из карельской березы со всякими там выдвигаемыми ящичками и встроенной радиолой для показа притащили. Завхозная шусшера, видимо, захотела отличиться. Сталин похвалил работу, уточнив лишь, сколько такая штука стоит. Выяснив, что тридцать тысяч, категорически заявил: “Мы себе такую дорогую мебель позволить не можем. Отдайте Академии наук, но запросите с них подороже!”

Под занавес сбора тяжи, словно сговорившись, поголовно влюбились в юную метательницу Оленьку Цукай. Стройностью фигуры она напоминала “Девушку с веслом” Ивана Шадра, парково растиражированную лепилами. Загорелая, стремительная в походке, она приводила борцов в ступор. Александр Григорьевич Мазур, много чего женского повидавший на своем веку, и тот поддался ее флюидам. Завидев ее, он тыкал меня локтем в бок и гудел: “Оце дивчина!” На наши ахи и охи Оля не велась. Ее вот-вот должны были включить в основной состав, и она мысленно уже видела себя в Риме на пьедестале почета увенчанной лавровым венком. В тот вечер, прихорашиваясь перед ужином, она машинально взяла со стола растрепанную книжицу в кожаном переплете, изгрызенном мышами. Соседки по комнате использовали ее вместо подставки для утюга. Любопытства ради она раскрыла книжку и прочитала первое четверостишие, попавшее на глаза:

*Ночи уходят, чудесные, сладкие ночи.
Дни остаются — тоскливые дни без тебя.
Так вот случается, милый, а хочется очень
Дома и топота ног босоногих ребят.*

На нее что-то накатило, захотелось остаться одной, уйти от набивших оскомину девичьих посиделок-пересудов, куда-нибудь исчезнуть, скрыться...

Полная луна, выглянув из-за облачной занавеси, оттенила зубчатую окантовку леса, истончила пелену тумана, нависшего над рекой. Встрепанный ее светом, где-то рядом ухнул филин. Ольга сбросила на примятую траву платье и, забредя по колено в воду, зашпилила непокорную прядь волос. Пернатый хищник, мало смысла в прелестях женского тела, тем не менее вытаращился на точеную талию дивы, ее округлости. Перед тем как окунуться, Ольга ойкнула, но теплая, словно парное молоко, вода растопила ее страхи. Она плыла, шурясь от прыскающих в лицо воздушных пузырьков. Лопаясь, они торопливо разбегались от нее в разные стороны. Течение увлекло ее на середину. Она не сопротивлялась. Ее закружило. Звездный небосвод заколыхался над нею. Дуновение ветерка донесло до нее едва уловимый горьковатый запах прибрежного ивняка. Она плыла, смутно ощущая, что случайно попавшие ей на глаза строчки превратили все прежние ее устремления в пустопорожнюю шелуху...

На арене древнеримской базилики Максенция никто из наших вольников золота не завоевал. Серебро и бронза в зачет не шли. Ближе всех к успеху оказался Савкудз. В финале он встретился с матерым Вильфридом Дитрихом. Соперник, как ни пытался, даже не сумел сдвинуть Дзарасова в партере. И Савкудз решил поизголяться над ним, поиграть на зрителя. Он подпер голову кулаком, что на нашем борцовском языке жестов означало крайнюю степень издевки над потугами противника, мол, а подайте-ка мне почитать газетку! По-турецки это звучало иначе: “А не побаловать ли себя чашечкой кофе!?” Дитрих словно дожидался этого момента. Последовала взрывная атака, и он впечатал лопатки осетинского богатыря в ковер. Понятно, что бронзовая медаль Савкудзу и даром была не нужна. Не заиграйся он в Риме, до Токио его никто бы и пальцем не тронул, и нас с Медведем на многие годы спровадили бы на скамейку запасных. И тогда наши биографии выглядела бы совершенно иначе... Вот и не верь народной мудрости: “Не было бы счастья, да несчастье помогло”.

Си-Си-Си-Пи

Год 1962. Сборная СССР по вольной борьбе летит на первенство мира в американский город Толидо, штат Огайо. Мы знаем, что если осрамимся перед угрожающим ликом дядюшки Сэма, то по возвращении особо провинившимся непременно сделают секир-башку. Словом, цель у всех одна и та же — победить, но задачи, стоящие перед каждым, чуточку разнятся. Алиеву, двукратному чемпиону мира, необходимо подтвердить свое лидерство в наилегчайшем весе. Тренеры в нем не сомневаются, лишь бы он совладал с лишними килограммами. Сгонкой веса Али измотан так, что всдыхивает от любого неосторожного слова. Он дошел до того, что ночью, ворочаясь с боку на бок, нашаривает на тумбочке графин с водою, и встряхивает его, чтобы услышать звук булькающей воды. Средневесу Мише Бекмурзову кровь из носу надобно поменять прошлогоднее серебро на золото. Миша закачан настолько, что не способен встать на “мост”. Он и гибкость — вещи не совместимые. Его выручает ломовая силища. На нее и надежда. Пожалуй, сложнее всего в Толидо придется Медведею. На прошлогоднем чемпионате мира в Йокогаме Александр проиграл в финале немцу Дитриху, тому самому, который наказал в Риме Савкудза Дзарасова. Бронза для дебюта вроде бы и не так плохо. Но в зачет у нас принималось тогда только золото. Так Медведь оказался в сборной в подвешенном состоянии. Но Международная Федерация борьбы, в очередной раз перетасовав весовые категории, ввела новую, вполне подходящую для кондиций Александра. Он считает, что ему выпала уникальная возможность, попридержав весок, реабилитировать себя в полутяже. Мне тренеры доверили выступать в тяжелой весовой категории, самой престижной, и по всему видать, ждут от меня великих свершений. Перед отлетом в США Серега оборонил:

— Думаю, ты готов.

Нечто более определенное мне довелось услышать чуть ранее от человека, совершенно чуждого спорту.

Прошлой осенью наша сборная встречалась в Тегеране с иранскими пехлеванами. Из Еревана до контрольно-пропускного пункта в Джульфе нас довели автобусом. Границу переходили пехом, по мосту, переброшенному через невзрачную речку. Железная решетка делила мост на две равные части. Она оказалась закрытой на амбарный замок. Мы, конечно же, не настраивались на церемониальную встречу. Однако появившийся некоторое время спустя со связкой ключей полусонный иранский пограничник, да к тому же в поношенном мундире, разочаровал нас своим непрезентабельным видом. Однако наше настроение заметно улучшилось, когда к станционному перрону Джульфы подали спецпоезд из трех вагонов. Средний представлял из себя ресторан. Его повара улаживали нас всяческими изысками. Кульминацией их кулинарного искусства оказалось блюдо с горкой белоснежного риса, с кратером, наполненным чем-то вроде сметанного соуса, смешанного с неведомыми нам терпкими травами.

Тегеран удивил не чистотой своих европейских кварталов, а кавардаком, творившимся на автостадах. В нескончаемых потоках надрывно клаксонящих автомобилей водители поворачивали где и когда им заблагорассудится, при этом умудряясь избегать аварий. Базар ошаршил приставучестью зазывал, штабелями персидских ковров, ювелирными лавками с россыпью бирюзы, золотых монет, низками всевозможных дамских цапек из драгметаллов, дурманящими запахами ароматных приправ, восточными сладостями и за спиной шепотком: “шурави... шурави... шурави”, мол, “советские... советские... советские”. На матчевую встречу мы едва не опоздали. Путь нам преградила процессия истязующих себя людей. Они в испуге, до крови щип, хлестали себя ременными плетками. Слишком впечатлительных членов нашей команды пришлось успокоить тем, что именно так наиболее экзальтированные персы отмечают очередную годовщину Великой Октябрьской революции.

Но, пожалуй, самым сильным для нас потрясением оказался переполненный до отказа стадион, с ликованием встречающий своих кумиров. Футбольные фаны по сравнению с ними — детсадовская мелюзга. Посещения зурханы, что в переводе означает “дом силы”, кое-что прояснило нам в фанатичной преданности иранцев борьбе. Под высоким куполом здания, напоминающего мечеть, под аккомпанемент будоражащих звуков томбака, маленького цилиндрического барабана, впав в транс, кружились оголенные по пояс мускулистые мужчины. После танца, вооружившись пудовыми булавами, они жонглировать ими до седьмого пота, а затем сменили их на связки гремучих цепей. И лишь после такой разминки пехлеваны приступили к поединкам.

Своей схваткой я остался недоволен. Выиграл, но коряво. Сойдя с помоста, попал в плен к газетчикам. Ко мне пытается пробиться жена нашего дипломата. Ее усилия оказываются тщетными, но сквозь всеобщий галдеж до меня донесся обрывок ее фразы:

— Искра... в вас есть искра!

Никто из близких мне людей отродясь ничего подобного мне не говорил. Потому мне и запомнился ее восторженный выкрик...

В иллюминаторе самолета одна и та же набившая оскомину картина: безоблачная высь и бескрайность океана. Кажется, что самолет завяз в бездне. Мы с Гуревичем, измаявшись от безделья, затеваем очередную партийку в подкидного дурака. Борис в команде держится особняком. Его слегка заносит, после того как Вучетич из тьмы соискателей именно киевлянина избрал моделью для своей знаменитой скульптуры “Перекуем мечи на орала”. За гонорар крыльев не купишь, но походку деньжата могут подпортить. Борис появился на сборе в приталенном пиджаке. Своим щегольским видом он как бы расквитывался за прошлое. Раньше его пластали на ковре и, заломав руку на “ключ”, елозили предплечьем по губам до кровянки. Эта каверзная попытка называлась чисткой зубов. Оставшись в зале после тренировки одиношеничек, он упорно накачивал себе бицепсы на гимнастических кольцах.

Тяготящий перелет через океан завершался. В окно иллюминатора завиднелась прибрежная полоса. Под крылом лайнера замелькали крыши

коттеджей, зелень лужаек, синие овалы бассейнов. “Их тут тысячи тысяч”, — словно предугадывая мой недоуменный вопрос, оборонил сосед по креслу, судя по всему совершавший не первый вояж в Америку.

В аэропорту мастодонтный афроамериканец в белоснежных перчатках с безразличным выражением лица по самый локоть запускает в мой чемодан лапищу и переворачивает вверх дном все его содержимое. С таким же равнодушием таможенник потрошит баул следующего пассажира. В тоннеле под Гудзоном посольский автобус застревает в пробке. От выхлопных газов мы чуть не задыхаемся. Наверное, еще и поэтому при виде сгрудившихся на Манхэттене заоблачных акселератов из стекла и стали меня охватывает оторопь. Мне бы и недели хватило, чтобы зачехнуть среди этих небоскрёбных каньонов. И, тем не менее, я прилипаю к окну автобуса. Спортсмены не туристы — никаких тебе экскурсий, никаких там картинных галерей. Выступим, и “гудбай, Америка”. Так что успевай, лови момент...

Разномастный бродвейский поток. Тут тебе и вечно спешащие офисные клерки, несмотря на жарящую блудящую свой пиджачно-галстучный дресс-код, и лениво бредущие тучные фигуры в обвислых футболках и приспущенных до колен шортах, полно мамаш, схожих с кенгуру из-за своих ляпочных напущиков, в которых посапывают их сомлевающие от некла эби. На углу перекрестка грохочет джаз-банд. Инструмент у музыкантов непрезентабельный: перевернутая металлическая бочка замещает барабан, контрабас заменяет палка от швабры с туго натянутой струной из бельевой веревки, совмещенная с тазиком-резонатором, плюс маракасы. Они же приторговывают и одноразовыми пластмассовыми ручками, потому что просто так побираться в Штатах противозаконно. Мы притормаживаем у фастфудной забегаловки, где кормимся на скорую руку. Официантка, она же продавец и кассир в одном лице, в накрахмаленном чепчике и в таком же чистюльном переднике не обслуживает нас, а порхает. Ее подменяет сменщица, и “наша”, сняв униформу, устраивается за соседним столиком, оплачивая свой заказ наличными из своего собственного кармана! Уму непостижимо! Вот она — реальная Америка!

В Толидо размещаемся в университетском студенческом кампусе. Двухместные номера обставлены спартански. В конурке две кровати, при них тумбочки, невзрачный столик, платяной шкаф и душевая кабина. Медведь напросился мне в соседи, хотя от бесконечных спаррингов на сборах нас уже подташнивает друг от друга. Секрет в том, что для походов по супермаркетам, на нашем языке “музеям”, ему надобен толмач. А за время наших заграничных вояжей мне удалось довольно сносно освоить пиджин-инглиш. Так что ему без меня — ни прицениться, ни поторговаться. А любит он это дело до самозабвения. Присмотрев нужную ему вещичку, он принимается мытарить продавца, требуя от него, чтобы тот скопил цену. Мои попытки урезонить друга, втолковать ему, что это не базар и здесь не торгуются, ни к чему не приводят. Сашка знай гнет свое. Очумев от такого напора, мерчандайзер вызывает себе на подмогу старшего по отделу. Вдвоем, а то и втроем, они пытаются урезонить Медведя. Но Сашка упорно стоит на своем. Результат всегда один и тот же. Ошалевшие от его натиска продавцы куда-то звонят, с кем-то что-то согласовывают и, наконец, капитулировав, отдают Медведю товар за пол-цены.

После обустройства тренеры собирают нас в холле на установку:

— На солнце не вылезать, на разминках не заводится, в город не выбираться.

Предоставленные затем самим себе, мы не расходимся. У Гуревича в аэропорту пропал чемодан. В помятых хэбэшных брюках, плетеных сандалиях и бобочке-безрукавке он выглядит дачным пенсионером. Решаем, что Борису необходимо срочно выставить авиакомпании иск, приложив список пропавших вещей.

— Записывай: фотоаппарат “Феликс Эдмундович Дзержинский”, — советует ему Роберт Джгамадзе. Он полон решимости нанести сокрушительный удар по экономике США. Гуревич не понял его посылы. — Да я про “ФЭД”, — растолковывает ему Роберт.

Айдын Ибрагимов предлагает не мелочиться и добавить в список любительскую кинокамеру, а еще лучше две. Подбивая итоги, он озвучивает общую сумму претензий в долларовом эквиваленте. Получается полтыщи зеленых, а то и более. Нас берут завидки, всем бы такая пруха, все же солидная прибавка к более чем скромным суточным.

Манеж, в котором будут проходить состязания, расположен рядом с кемпингом. В голове мешанина. Мы еще не выпутались из паутины часовых поясов. Отовариваемся продуктами в ближайшем от нас подземном переходе. В нем установлены шеренги автоматов с кока-колой, фантой, разными чипсами, сэндвичами, пакетиками с орешками. Всем этим соблазнительным “разносолам” я предпочитаю консервированные бобы — дешево и сердито, тем более что автомат выкатывает их подогретыми. Иногда раскошелливаюсь на мороженое — ледяное крошево, политое фиолетовым сиропом с привкусом жевательной резинки. Оно на какое-то время спасает от влажной духоты, разлитой повсеместно: в общежитии, в спортзале, в парке. Жара не спадает даже ночью. Ложась спать, я укрываюсь мокрой простыней, так вроде попрохладнее. Но она мгновенно высыхает, свивается в жгут, и надо вставать, тащиться в душ и вновь ее замачивать. Накануне старта Гуревича умыкают его соплеменники. Он клятвенно обещает вернуться утром к взвешиванию. В составе каждой команды, направляемой в то время за границу, всегда встраивался хитрый дядечка — “внутрячок”. Между собою, мы называли таких Иван Иванычами. Так борцы обзывали дерматиновые чучела в рост человека, набитые для упругости шерстяными отходами, на которых отрабатывалась броски. Мы, разумеется, прикрыли Бориса, и “внутрячок” не заметил его отсутствия. Гуревич объявился на рассвете с двумя чемоданами, трещащими по швам от шмоток:

— Протрепались всю ночь, — пожалился на своих единоверцев Борис. — Они думают, что я Иисус Навин, и ждут от меня здесь библейских подвигов.

Мы придирчиво рассматриваем его пухлые баулы.

— Вишь сколько барахлашка мне отвалили? Чтоб мы так жили! На ихний манер инженер, а по-нашему миллионер. У них в коттеджах наверху спальни, а поддают исключительно виски с содовой. Ради интереса губы смочил. Дрянь да и только!

Чемпионат начинался с иезуитского испытания — взвешивания. Чего, казалось бы, проще — встал на весы, сошел, вот и вся недолга. Но для легких весов эта процедура хуже казней египетских. Нервы внатяг у всех — особенно у “мухачей”. Если что-то пошло не так, навьючивай на себя ворох одежды, бери скакалку и вперед с песнями. Успеешь сбросить лишнее в отведенный для взвешивания час, значит, твоя взяла, не сподобился — дисквалификация, и тогда вся твоя команда, в общем зачете, откатывается на зады. Оттого у ширмы, за которой происходит процедура взвешивания, атмосфера особенно нервозная. Подходит черед трехкратного чемпиона мира Хюссеина Акбаша. Соперники глаз не спускают со своего основного конкурента, прозванного “железным хромцом”. Его шатает от сгонки из стороны в сторону — кожа да кости. От всей мышечной массы у турка остались лишь “фасолины”. Своим изможденным лицом он схож с оголодавшим ястребом. Такой, если скоттит кого, то разорвет в клочья. Он и в обычной-то ситуации, со своей скрюченной ногой, выглядит по-особенному, эдакая ходячая мумия. В детстве Хюссеин, тащивший тяжеленую вязанку дров, сорвался с крутизны. Коленный сустав, бедро, голень правой ноги превратились у него в сплошную дрань. Бабки-знахарки еле выходили малолетку. Нога срослась, но походила на иссохшую коряжку. Акбаша даже отстранили от международных турниров. Но его личный тренер поставил перед международной федерацией вопрос ребром: “Почему двукратному серебряному призеру Олимпиад по греко-римской борьбе, глухонемому итальянцу, Игнацио Фабре можно бороться, а Хюссеину, с его скрюченной ногой нельзя?” Культяшка Акбаша служит ему в качестве наживки. Все знают, что хвататься за нее — себе дороже, но под гипнозом ее кажущейся хилости не могут удержаться от соблазна. “Отдавал” ногу Хюссеин в легкую, а затем в шпагате дотягивался до таза атакующего и ставил его на попа.

Вокруг турка суетятся секунданты с термосами. Осталось каких-нибудь полчаса до завершения взвешивания, а у него излишек веса, заклятые доли граммов. По всему видать, назревала сенсация. Его заводят в парилку. Там под потолком подвешено наливной спелости яблоко. И Акбаш, прыгая до одури, пытается достать его зубами.

Ждет не дожидется своей очереди и Нодар Хохашвили. У него 63 килограмма. Он, как и полагается, тоже из разряда сгонщиков и накануне жаловался мне, что сердце у него бухтит в груди, нещадно тарабаниа по хребтине. Сгонщики, успешно проскользнувшие между Сциллой и Харибдой мандатной комиссии, давятся обжигаящим чаем. Но и они могут позволить себе кружку-другую, не более. Чтобы напиться до захлеба — с радости или горя — им еще потеть и потеть...

Тяжи кучкуются в сторонке от общей кутерьмы. Они словно моржи-секачи на лежбище: переминаются, позевывают, косясь друг на друга. Им, собственно, незачем спешить. Взвешивание их особо не волнует. На меня — очкарика, ноль внимания. Они уверены, что будут тягаться с Александром. Так что мне позволено разглядывать их в упор. У болгарина Лютви Ахмедова голова вросла в плечи. За нее ни зацепиться, ни ухватиться. Немец Вильфрид Дитрих, прозванный за свою недюжинную силушку подъемным краном, массивен и вроде неповоротлив, но всем известны его виртуозные броски полусуплесом. Турок Хамид Каплан поджар, взгляд жесткий, готов схарчить любого. Мне о них мало что известно. Они для меня, как каменные половецкие истуканы, вросшие за века в землю по пояс — ни раскачать, ни опрокинуть. И мне надо выигрывать у эдаких громил!? Кто они — соперники, противники, недруги? Мне бы на них осерчать — не получается. Но и друзей в них не вижу.

Чемпионат еще толком не начался, а болельщиков в зале под потолок, и они заводят себя кричалками. Прячусь от их гвалта в разминочном зале. Но и он переполнен праздными зеваками. Секьюрити себя особо не утруждают. Нашитые на наших спортивных костюмах крупным шрифтом буквы “СССР” интригуют. Уяснив значение аббревиатуры “Си-Си-Си-Пи”, они с трафаретной улыбкой восклицают: “Оу, спутник, Гагарин!”. Их назойливое любопытство достает, и я прячусь под трибуны. Здесь поспокойнее и удобнее наблюдать за всем происходящим. На помост зачем-то поднимаются длинноногая красотка в откровенном бикини, перепоясанная голубой атласной лентой с надписью: “Мисс Нью-Йорк”. В руках у нее плетеная корзиночка, полная яиц. Дефилируя по ковру, мисс зазывно виляет бедрами и будто невзначай роняет яйца на поролоновые маты. К моему удивлению, они остаются целехонькими.

— Да сварены вкрутую, а ты и раззявился, — отрезвляет меня Серега. — Свои поролоновые ковры рекламируют, всего-то делов. Не трать нервышки по-пустому. Найди местечко поспокойнее — только свой вызов на ковер не проворонь.

Удар гонга. Прогоняя трясучку, вдыхаю воздух и схожусь с южноафриканским буром в клинче. От него пахнет дезодорантом, смешанным с запахом пота. Нутром почувствовал, что вся его напускная бравада куда-то подевалась! В глазах у него паника. Мне хочется разорвать бедолагу на части, лишь бы он не мучился страхом. Делаю обманный рывок. Поведясь на уловку, бур шатнулся в нужную мне сторону и попался на “ломок”. Взмыв в верхотуру, он с высоты человеческого роста хряснулся на ковер. Победа, что надо, — чистая, чистей не бывает!

Кураж пойман. На его волне я и в следующем, и в последующих поединках дал прикурить противникам и споткнулся лишь на Лютви Ахмедове. Титулы болгарина внушают почтение. К тому же, он превосходит меня в весе килограммов эдак на двадцать. И все бы ничего, но своей манерой бороться он напоминает мне Бориса Кулаева. На сборах любой спарринг с осетином оборачивался для меня испорченным настроением. Внешне Кулаев походил на банковский сейф, который с места не сдвинешь, болгаркой не вспорешь и кувалдой не раздербанишь. Чуть присядет, выставит ногу в упор, и бейся о него до обморока. В самом начале Лютви попытался пару

раз меня швунгануть, то есть задергать ударами по шее, оплеухами, но я опережаю его в скорости и, сделав подсечку, зарабатыватью балл. Под занавес болгарин решается на таран, но я успеваю уклониться. Гонг. Преисполненный сознанием выполненного долга, иду на середину. Рефери берет нас за руки, смотрит на судейскую коллегия и поднимает вверх руку Лютви, а заодно и мою. Мое лицо вытягивается от недоумения, ведь был же бросок, был балл! Серега раздосадован не менее моего, но старается утешить:

— Не засчитали очко, болгарин их своим авторитетом задавил. Его знают. Не мог же он поддаться какому-то зеленому новичку. Боюсь, как бы Лютви с Капланом в финале в наперстки с тобой не сыграли! Самого Дитриха схарчили и не поперхнулись.

Завершается третий день турнира. Чемпионат входит в финишную прямую. Ажиотаж в Филдхаузе зашкаливает. Потуже шнурую борцовки, скроенные из тонкой кожи, строго следуя последовательности — вначале на левой стопе, затем на правой. Точно так же поступаю и с лямками трико. Делаю щадящую разминку. Завидев Каплана, мозолю ему глаза, нарочито лениво приседаю, как бы нехотя прогибаюсь, наминая уши. Я заметил, что если не суетиться на виду у противника, то он поведет себя соответственно. А мне нужен “сухой” Каплан. Может, тогда и появится шанс вылетиться под ним в своем триковом броске. На потных этот захват соскальзывает.

Каплан выходит на ковер первым. Я медлю. Пускай кондиционер обдует его, обсушит, пусть потомится в ожидании меня. Но дольше тянуть нельзя. Турецкие болельщики перетекли к нашему помосту и затянули бьющую по перепонкам волюнку: “Тюрки... е... тюрки... е... тюрки... е!” У меня в запасе меньше секунды, чтобы принять решение. Не в том смысле, что провести вначале “вертушку”, а потом сделать “отхват”. Я давно от подобных глупостей отказался. Противники не оловянные солдатики. Иной, выйдя на ковер, так согнется в “пополаме”, что всем твоим задумкам сразу каюк. Мне надо по первым движениям понять, принимает ли Хамид меня за везунчика, ухитрившегося пролезть в финал? Свисток Стива комкает мои размышления. Уберегая себя от свистопляски, вздыбившей зал, — глухну. В моем суженном пространстве только Каплан и мои раскаленные до малинового цвета уши. Хамид сходу наваливается на меня сверху. Надо же такой прухе! Сам полез в капкан. Но чур меня, чур! Бросать его не с руки. Мы сместились к краю ковра. И заступа при броске не избежать. А на тот же самый трюк Каплан дважды не поведется. Что делать-то? Изображая перетрус, выдираюсь из его захвата и вываливаюсь за ковер. Американец снова сводит нас в центре помоста. Каплан, подумав, что я смертельно боюсь его навала сверху, ни секунды не раздумывая, вновь повисает на моей шее, подламывает под себя и... летит... летит... летит, сверкая пятками, потому что я, стелясь под него, успеваю развернуть Хамида спиной к ковра. Туше! На лице секунданта Хамида полная растерянность. В тот миг ему показалось, что Каплану свернули голову, словно куренку.

Истошный крик Сереги вспарывает тишину:

— Держи! Не отпускай!

Но я и без его подсказки вцепился в Каплана по-бульдожьи. Если сейчас вскочить и запрыгать на ковре от счастья, то судьи могут не засчитать туше, мол, бросил с нарушениями и все такое прочее. Такое бывало, и не раз! Меня стаскивают с Каплана за ноги. Чемпион туширован за 49 секунд. И как бы они теперь ни разыгрывали с Ахмедовым партию в подавки, им ни за что не уложиться в эти секунды. А значит, я первый! Оставив поздравления на потом, бросаюсь на помощь к Александру Медведю. Он сошелся в клинче с Тахти. У них пока ничья, и, значит, Сашкина судьба висит на волоске. На утреннем взвешивании Реза оказался легче Медведя на четыреста граммов, и в случае пата победу присудят иранскому пехлевану. Вокруг помоста кипение страстей. Фанаты понимают, что они свидетели последнего боя их кумира. Тахти дал слово, что после Толидо навсегда оставит спорт. Истекает последняя минута поединка. Александр измотан донельзя, и все же лезет и лезет вперед. Реза, выбитый Александром за ковер очередным проходом ему в ноги, через не могу заставляет себя вернуться в центр помоста.

Очевидно, он тоже на пределе. Болельщики хором отсчитывают последние секунды поединка. Гонг! Ничья! А это означает, что золото достается иранцу! Обессиленный Тахти падает на руки ликующих земляков. Его увешивают припасенными заранее гилянцами цветов, словно индийского магараджу, и толпа, пританцовывая, на плечах несет его на контрольное взвешивание.

Три золотые медали позволяют нам обойти в командном зачете иранцев, турок, болгар, японцев, словом, всех-всех-всех. Прикомандированный к сборной заведующий международным отделом “Советского спорта” Кикнадзе, как две капли воды похожий на Дон Кихота, спешно отсылает на родину реляцию о нашей победе. У меня с ним контакт. Но он то и дело прощупывает меня:

— Ты же интеллигентный парень! Как тебя угораздило податься в борцы?

— Случайно застрял, — парирую я, — а когда спохватился, побоялся прыгать с поезда на полном ходу.

Кто бы мог подумать, что в лихие девяностые, он же, в своем опусе, опубликованном в “МК”, поведает городу и миру, что тогда, в Толидо имярек испражнился в трико и, таким образом облегчившись, оказался легче своего соперника и выиграл звание чемпиона мира. Надо же так опаскудить журналистское реноме, под занавес своей жизни!..

Самолет уверенно гудит мотором. Мы легим домой, испытывая легкую эйфорию, ни о чем не тревожась, не ощущая, что под нами... ветер по морю гуляет и подлодки подгоняет... прямо к острову Буяну, прямо к храброму Салтану по фамилии Кастро... Лишь потом придет осознание, что Кубинский кризис чуть не привел земной шарик к вселенской катастрофе.

Нанайский мальчик

Однажды я загостился у Михаила Шишкина, актера театра “Ромен”, неподражаемого рассказчика курьезных баек и бесподобного исполнителя старинных романсов. В большие актеры он не вышел, если не считать разового эпизода в фильме “Анна на шее”, но пришелся по душе Василию Сталину своим хрипловатым голосом и тем, что держал форсе, пресекая любые попытки соблазнить его хористок. Согласно таборному канону Михаил носил в мочке уха увесистую золотую серьгу, схожую с полумесяцем. А еще он обожал скачки, карты и борьбу. При наших встречах Михаил задибался, пытаясь одолеть меня. Он до трясушки боготворил свою необъятную женушку, волоокую блондинку с очевидными формами. Подобных дам мужчины всегда провожают восхищенными вздохами, прибавляя: “Обнять бы такую и прослезиться от удовольствия!” В его квартире в Телеграфном переулке — и по случаю, и без — веселье никогда не прекращалось. В тот памятный вечер я ушел от него пораньше. Мне надо было успеть до отбоя в пансионат на Ходынке. Там у армейских борцов проходил тренировочный сбор.

Она вошла в вагон на “Маяковке”, румяная от мороза, в курточке с воротником из лисьего меха. Через плечо у нее были переброшены связанные шнурками коньки-канадки. Я украдкой посмотрел на ее соболиные брови, густые волнистые волосы, забранные на затылке в тугий пучок. На какой-то миг мне удалось поймать ее взгляд...

Домашние звали ее Татой. Она родилась с пышной копной волос, требовавшей немедленной укладки, желательной феном. Ее глазенки после родов являли из себя припухлые щелочки, потому девочку долго величали нанайским мальчиком. Малявка вырастала, поражая всех своею грациозностью, свойственной разве что сказочным феям. Родня млела при виде “нанаечки”. Но ее мама, женщина строгих нравов, запретила сюсюкать и говорить Таточке, что она “прелесть как хороша”. Многочисленные тетушки, огорченно повздыхав, подчинились. Взрослых в этой старомосковской семье слушались беспрекословно. Однако взбунтовалась сама кроха. Когда однажды ее нашлепали за какою-то малость, Тата обиделась и своевольно заявила, что уйдет из дома к... цыганям.

Основатель династии Гранильщиковых служил управляющим чайного магазина, выстроенного в псевдокитайском стиле на Мясницкой. В нем торгуют

колониальными товарами и по сию пору. Революция заставила наследников поменять профессии. Они стали мостостроителями, инженерами-путейцами, проектировщиками, архитекторами, сражались за Родину и Иосифа Виссарионовича. Таточке в наследство как напоминание о давно прошедшем прошлом достались серебряная суповая ложка с монограммой и старинный фолиант с фотографиями прабабушек в шляпках, украшенных страусовыми перьями. Таточку-Танюшу по окончании десятилетки отправили учиться в серьезное заведение — институт геодезии и картографии. Первокурсники не знали, как объясниться ей в любви с помощью дифференциальных уравнений. Все это мне станет известно потом. А тогда в метро я вдруг понял, откуда у вошедшей такая аура. Она не ведала о своих чарах. Не замечая моего пристального интереса к своей особе, она отсутствующе уставилась в тряское вагонное окно.

Сердцем я понимал, что мне нужно в сей момент набраться храбрости и подойти к ней, сказав нечто значимое. Но на ум, кроме расхожей пошлятины вроде: “Девушка, а не скажете ли, который час?” — ничего не приходило. Она вышла на “Соколе” и села в троллейбус, направлявшийся к Речному вокзалу. Мне нужно было ехать в противоположную сторону, на Песчаную площадь. В последний момент, когда двери с шипом начали закрываться, я заскочил в салон троллейбуса и опрометчиво сел впереди нее. Еду, страшась оглянуться, чтобы не выдать себя. Она сошла на конечной остановке и, пугаясь темноты, заспешила к угловому дому по тропочке, проложенной в сугробах. Крадусь за нею, боясь обнаружить себя, взмокнув от волнения. Пирожковая шапка под каракуль и очки съехали набок. Кожаный портфель, набитый затхлой спортивной формой, колотит по коленям. В подъезде она вызвала лифт, а я мнусь в нерешительности за ее спиною, пытаясь выдать из себя что-либо членораздельное. Судорожно нашарив в кармане пальто мелочь, извлекаю ее и тупо пялюсь на медяки. Они подпрыгивают на ладони синхронно с дрожью тела, выдавая меня с головой. И тут, припертый к стене, я неожиданно выпаливаю:

— Вы меня сюда завели, вы меня отсюда должны и вывести!

Она обернулась и с удивлением посмотрела на меня...

Похождения факира

*Где друзья минувших лет,
Где гусары коренные,
Председатели бесед,
Собутельники седые?*

*Говорят, умней они...
Но что слышим от любого?
Жомини да Жомини!
А об водке — ни полслова!*

Эту песню написал гусар, поэт, лихой рубака, знаменитый партизан, герой войны 1812 года Денис Давыдов. Он воспевал вино, любовь, удалую жизнь и скучнел от “глубокомысленных” обсуждений мемуаров барона Генриха Жомини касательно наполеоновских баталий.

Казалось бы, Денис Давыдов личность совершенно мифическая и он так далек от нас. Ан нет! Открыл сочинения дяди Гиляя “Москва и москвичи” и понял — заблуждаюсь, и очень сильно!

“Сидя в кабинке Сандуновских бань... старик рассказывал:

— А пить я выучился тут, в этих самых банях, когда еще сама Сандунова жива была. И ее я видел, и Пушкина видел... Любил жарко париться!

— Пушкина? — удивленно спросили его слушатели.

— Да, здесь. Вот этих каюток тогда тут не было, дом был длинный, двухэтажный, а зала дворянская тоже была большая, с такими же мягкими диванами, и буфет был — проси чего хочешь... Пушкин здесь и бывал. Его приятель меня и пить выучил. Перед диванами тогда столы стояли. Вот сидим мы, попарившись, за столом и отдыхаем. Я и Дмитриев. Пьем брусничную воду.

Вдруг выходит, похрамывая, Денис Васильевич Давыдов... знаменитый! Его превосходительство квартировал тогда в доме Тинкова, на Пречистенке, а супруга Тинкова — моя крестная мать. Там я и познакомился с этим знаменитым героем. Он стихи писал и, бывало, читал их у крестной. Вышел Денис Васильевич из бани, накинул простыню и подошел ко мне, а Дмитриеву ему: “С легким паром, ваше превосходительство. Не угодно ли брусничной? Ароматная!” — “А ты не боишься?” — спрашивает. “Чего?” — “А вот ее пить? Пушкин о ней так говорит: “Боюсь, брусничная вода мне б не наделала вреда”, и оттого пил он ее с араком”. Денис Васильевич мигнул, и банщик уже несет две бутылки брусничной воды и бутылку арака. И начал Денис Васильевич наливать себе и нам: полстакана воды, полстакана арака. Пробую — вкусно. А сам какие-то стихи про арака читает...”

Мимолетная вроде зарисовка, но в ней Денис Давыдов наш, свойский, стал мне ближе и понятнее, почти что своим, рубахой-парнем. Много лет спустя завсегдагами Сандуновских бань, с их кабинетами, простынями, колоритными банщиками оказался и наш брат-спортсмен — члены “Русского гимнастического общества”. А в мои годы знаменитые бани пришлись по вкусу Александру Мазуру, мерявшемуся силой с самим Иваном Поддубным, циклопическому Анатолию Парфенову, не то борцу, не то киноактеру Алексею Ванину. Все они предпочитали сандуновский парок многим иным утехам.

Но вернемся, собственно, к “Жомини”. Получается, что я много чего нагородил, а о борьбе — не более полуслова. Но все эти вокруг да около мне были крайне необходимы. Они тот фон, точнее второй план, который придает событиям особую осязаемость. Взять хотя бы известную поэму Твардовского о войне “Василий Теркин”, имеющую к тому же подзаголовок “Книга про бойца”. Так вот в ней — собственно боевым сценам отведено не столь уж много места. Но именно эта недосказанность и позволяет с особой остротой почувствовать нерв войны. Так что мои отступления — необходимость. Тем более что речь идет не о дне вчерашнем, не о позапрошлом годе и даже не об ушедшем веке, а — страшно вымолвить — канувшем в Лету тысячелетии. Поэтому, описывая былое, я осознанно уделяю много внимания бытовым мелочам. Без них ведь никак нельзя.

Знаменитый аварский борец, неукротимый Али Алиев, осваивал борцовские азы на гимнастических матах, уложенных под сводами... мечети! А сборная команда Московского военного округа противовоздушной обороны по вольной борьбе тренировалась в столице... в храме иконы Божией Матери “Знамение”, возведенном двоюродным дядей Петра I Нарышкиным. В советское время в нем разместили фабрику, на смену ей пришла лыжная база, затем библиотека и, наконец, церковь передали в ведение борцовского клуба. Клуб соорудил в подклете баньку, которая пользовалась успехом не только у спортсменов, но и у высшего комсостава МО ПВО. Особенно любил попариться в ней генерал-лейтенант А. М. Дзыза, заместитель командующего столичным округом противовоздушной обороны. Он без всякого чванства парился вместе с борцами, как ни крути, рядовыми солдатиками. И вел себя советский генерал почти по-давыдовски. После парилки его обслуживал порученец, насчет там рюмочки да закусочки. Нам выставлялся “слоновый”, то есть индийский, чай и сухари, присыпанные сахарком. Но дело не в разности наших продуктовых наборов. Потели на ковре, потели в баньке, словом, святотатствовали под сводами храма, и хоть бы что шевельнулось тогда в наших “воинских” душах!

Интересно, а захотел бы попариться геройский гусар в “церковной” баньке, оказался он нашим современником, или посвергывал бы всем нам за такое окаянство шеи? Про то ничего определенного сказать нельзя. Но сдается мне, к барьеру бы вызвал однозначно. Хорошо, что в ЦСКА у нас сложилась совсем иная традиция.

По субботам борцы обычно отправлялись в бассейн и, властью поплавав, там же и банились. Нас запускали в бассейн под вечер, не более чем на час, и все это время мы выхвалялись друг перед другом. Если Колесов проныривал под водой единым махом все пятьдесят метров, то и остальные старались не уступить токийскому чемпиону. Я до противоположной стенки не дотягивал

корпуса два — дышалки не хватало. Зато запросто сигал солдатиком с семиметровой вышки. Со мною в прыжках равнялся только Александр Юркевич. Он проделывал то же самое, но из стойки.

Под занавес водных игрив Александр Григорьевичу Мазуру надоедало остужать наш пыл свистковой трелью. Сложив с себя надзорные полномочия, он степенно поднимался на трехметровый трамплин. Раскачавшись на подкидной доске, Григорыч совершал в воздухе умопомрачительное по своей пластике сальто-мортале и плюхался в бассейн. Именно этого момента мы все и дожидались. Вода вспучивалась, выплескивалась из бассейна и еще долго приходила в себя от потрясения...

А потом всей гурьбой мы отправлялись в парилку. Но на сей раз ее оккупировал Тарасов, который заявлялся в нее, когда хотел и с кем хотел. Конечно, “чаепитие” хоккейного гуру мы нарушили. Он приканчивал горку вареных раков в компании с Белаковским, главным врачом всех армейских спортсменов и бессменным врачом сборной СССР по хоккею. За этим эскулапом мы чувствовали себя словно за каменной стеной. Олег Маркович опекал всех и каждого в отдельности, реагируя на любой подозрительный чих своих питомцев.

— А где блондинки? — тоном провинциального трагика забасил Тарасов. — Мне что ли прикажете самому за ними в шахту лезть? — Судя по реплике, он пребывал в благодушном настроении. — А ну, провокаторы, наваливайся на угощение!

Мы заартачились.

— Чего загэкали-то! Знаю вас, хитрованов, проходите к ноге, а сами валите подсекой. Сашок! У тебя народец того, подрос? Пускай на ус наматывают мою байку. Меня на днях замполит к себе в кабинет зазвал, закрыл дверь на ключ и ну песочить, мол, ходят слухи, что любовницу завел, и что неплохо все это. Ну, я вроде пригорюнился, сознался, что захаживаю тут к одной дорожке в гости, а у нее и свечи зажжены, и хрустальные рюмки на столе, и постель с накрахмаленными простынями расстелена. А потом врзал ему: мол, вам все равно меня трудно понять! Ведь вы свою буфетчицу Клавку в подсобке, на мешках с картошкой натягиваете.

Довольный произведенным эффектом, Тарасов с эскулапом засобирались...

И тогда зазвучала наша банная симфония в исполнении Григорыча и оркестра “паровых” инструментов: шайки, березового веника, мочалки и забористого кваса.

— Слава Господу! — як кажут атеисты. Пусть сей пар ваши грешны души примут яко лекарство! — забасил Мазур, едва переступив порог парилки. Цирковой борец, фронтовик, чемпион мира 1954 года, чином майор, к тому же член партии, произнося эти слова, разве что не перекрестился. К его колоритным поступкам мы попривыкли, поэтому Горбатенко тут же подстроился под его тон:

— Благодарим боярина за ласку.

Все понимали, чьими стараниями субботние парильные часы закрепили за борцами. Мазур налил в тазик кипятка, окатил им стены парилки, затем прошкрябал голиком полки и напялил себе на голову войлочный колпак, подаренный ему сталелитейщиками Челябинского металлургического комбината. Прицелившись, он шваркнул на каменку ковшик разбавленного кипятком кваса, сопроводив свое действие очередной присказкой:

— Да насытятся еси банный жар хлебным духом!

После чего с охами и ахами принялся усердно охаживать себя вениками. Ублажась, Александр Григорьевич уселся на приступочку, стряхнул ладонью пот со лба и крышкой от мыльницы счистил с тела испарину. Вряд ли все мы вместе взятые осознавали, что точно так же поступали эллинские атлеты, соскребая с торсов пот, смешанный с оливковым маслом и песком палестры. Закутавшись в предбаннике в простыню для пущего пропотения, Григорыч оставил неприкрытой лишь область сердца, что означало его полное довольство процессом парения. Мы сбились в кучку в предбаннике, боясь пропустить его суды-пересуды: кто, кого, когда, на какой минуте и в каком веке... забодал... сокрушил... заломал или согнул в бараний рог...

Анисимов мигом оседлал своего конька. Родители наделили его бархатным баритоном, осанкой и внешностью коробейника. Валера готовит себя к грядущим забугорным победам, бредит певческой карьерой и собирается издать биографию своего кумира Ивана Поддубного. Поэтому при всяком удобном случае он с пристрастием устраивает допросы Мазуру.

— Александр Григорьевич! Вы обещались про Яшек рассказать, — елеяно заворковал Анисимов. Мазур, размягченный парком, охотно пустился в воспоминания. Его были-небылицы, поведенные тогда в бане и в других подобных случаях, слились в моей памяти в цельную картину.

Согласно мазуровским откровениям, свой “Яшка” водился в каждой антрепризе. Он был для почтенной публики чем-то вроде паяца. Под одобрительный свист и гиканье галерки титулованные борцы гоняли его из угла в угол цирковой арены. Но если среди зрителей объявлялся охотник померяться удалью с заезжими богатырями, то ему подставляли Яшку, мол, чего ради лезть нахрапом сразу на знаменитостей? На самом деле, именно Яшка был виртуозом борьбы. Папц-клоун так обламывал бока новоявленному Миккуле Селяниновичу, что тот почитал за благо, если уползал с ковра целехоньким. Все это в чем-то, наверное, походило на схватку Трофима Ломакина с Фейей Бабничем. “Вы що думаете, лапшу на уши вишайте? А ну-ка сынку повзрнись! Чем не Яшка?” Мы догадываемся, что он кашат бочку на Виталия Кузнецова. Виталик с виду был простоват, курнос до непотребства и зверски силен. Говорил он со своеобразным юморком, упирая на “о”, что сразу же выдавало в нем волжанина:

— После туше чувствую себя треской, запеченной в тесте, да еще и под майонезом.

Виталик мог хряснуть на лопатки любого. Но ему не хватало фарта. В классике дорогу перекрыл питерский тяж Анатолий Рошин, среди вольников правили бал мы с Медведем. Пришлось сердечному податься в дзюдоисты. Там он своими “суплесами” и наводил порядок.

В последний раз я виделся с Александром Григорьевичем на съемках документального фильма о нем. Мазур долго не поддавался на уговоры, а потом все же согласился принять нашу киногруппу на своей даче. Когда мы явились к нему, он подравнивал топориком комли березовых веников на пеньке у сарайчика и обматывал их шпагатом. Его неказистый домишко приютился впритык к железнодорожной полосе отчуждения, чуть поодаль от просеки, прорубленной для высоковольтной линии. Худшего места трудно было сыскать. Пока Мазур развешивал веники для просушки, режиссер, оператор и автор сценария, которым был я, тихо ссорились между собою. Завела всю нашу “творческую группу” режиссер Ольга Ланд. Она была “вещью в себе”: занималась греблей, пробовала себя в дзюдо, учила голландский язык, увлекалась даосизмом и всем своим обликом соответствовала правофланговой физкультурнице парадов на Красной площади. Словом, она была высокорослой, ослепительной и упрямой, прямо-таки мечтой Джеймса Бонда. Ланд гуляла сама по себе и на дух не переносила чьих-либо возражений:

— Значит так! — прекратила наши препинания Ольга. — Снимаем в комнате! Набираем перебивки: парусящие от сквозняка занавески, самоварную каплю из крана в подстаканник, тикающие ходики. А первые кадры фильма отснимем потом, в пустом цирке. Представьте себе: седой униформист метет арену и как бы вслушивается в отголоски прошлого.

Наш фильм о Мазуре сгинул где-то в недрах Госфильмофонда. Так что мне придется восстанавливать по памяти канву нашей беседы. Мне кажется, что ее детали важны для сегодняшней борцовской молодежи.

В уездный городишко в канун приезда шапито засылался “казачок”. Он нанимался крючником на пристань, проставлялся артели, в перекурах вязал гвозди в узел и скандалил в трактирах. Понятно, что на галерке он был среди своих. И когда шпрыхшталмейстер вызывал из публики желающих испробовать себя во французской борьбе, на арене появлялся именно он. Казачок, разумеется, выигрывал, но его злонамеренно засуживали. Негодующие зрители требовали матч-реванш, который назначался на завтра. Понятно, что город валил в шапито валом. После боевой ничьей страсти разгорались еще

более, и тогда хозяин турнира прилюдно выставлял на кон денежный приз.

Таких фокусов, по утверждению Мазура, было не счесть. Представьте себе вокзал уездного городка, толпа встречающих, скрежет колес тормозящего состава... Из вагона выходит загадочная фигура в черной маске и фрахтует все до единой пролетки на привокзальной площади. На первой, в гордом одиночестве, едет сама “маска”. Вторая везет его саквояж, третья — трость, четвертая — перчатки, пятая... В гостинице черная маска, куражась, требует соорудить себе на завтрак омлет из дюжины яиц, конечно же, со шкварками.

Какой современный пиар может сравниться с сарафанным радио той поры! Весть о прибытии в город таинственного силача и его причудах мгновенно разносилась по всем улицам и закоулкам. И билеты на предстоящий чемпионат по французской борьбе расхватывались, словно горячие пирожки в крещенские морозы.

А тут тебе и вездесущая пролаза, пресса, подбавляла интересу. “Русский спорт” за 25 октября. Цифры смазаны, но похоже, что год 1909-й. Цена — 20 копеек. Редакция и контора: Москва, Большая Дмитровка, дом Востряковых, кв. 12, телефон 191-28. Пожелтевший номер поистрепался и, судя по округлому масляному следу, на него ставились и кастрюли с борщами, и сковородки с картошкой, так что многих слов вообще не разобрать. Город Харьков, от собственного корреспондента: “Чемпионат Заикина в цирке Миссури становится все интереснее и привлекает массу зрителей. Наибольшим вниманием пользуются выступления Поддубного. Он очень быстро, в первые же минуты, справился с Хорунжим, Медведевым, Поплавским. Спокойно, шутя, он уложил этих совсем уж не слабых борцов. Так же спокойно он боролся против Черной маски и, хотя двадцать минут борьбы не дали результата, но на то уж была воля Поддубного, его значительное преимущество было очевидно для всех”.

Там же, в подверстке, дается рекламное объявление: “Русский спорт” выгодно предлагает бензин в десятипудовых бочках, по 4 рубля 60 копеек. Пуд без посуды продается за 3 рубля 60 копеек. Пустые бочки отдаем по 3 рубля. По той же цене принимаем их возврат. Наш склад: Москва, Маросейка, дом 12. И далее: “Негр Бамбула сделал ничью с Мазуком и очень быстро уложил Казбека. С тем же Казбеком справился Чая-Янос, прибегая, по своему обыкновению, к неразрешенным приемам и получив за то ряд замечаний арбитров. За первые четыре дня чемпионата следует отметить еще и следующие встречи: Вахтуров эффектным тур-де-тетом в пять минут уложил Германа и в одиннадцать минут туром-де-бра победил Омер-ле-Бульона”.

Тогда на даче Мазур своими байками как бы перенес меня в прошлое, и я сам обмирал, стоя в парадном строю, при виде появившегося из-за цирковых кулис дядю Ваню Лебедева не в привычном для всех фраке и цилиндре, а в поддевке, картузе и надраенных до зеркального блеска сапогах “бутылкой”. Галерка оглушает его разбойными посвистами, а партер презрительным пиканьем. Лебедев, выдержав паузу, снимает картуз и отвечает почтенной публике низкий поясной поклон. И цирк, взрываясь, покоряется ему...

Ну, и конечно же, я млею от мазуровского перечисления состава участников чемпионатов: Поддубный, Заикин, Вахтуров, Гаккеншмидт, негр Бамбула, он же чемпион Африки и даже бухты Гайдамак, боснийский мясник Антонич, ростом 2 метра 16 сантиметров, еще более верзилистый Ванька Каин, мощнейший крымец Али-Оглы, Казбек-гора, японец Оно-Окитори, француз Омер-ле-Бульон, бельгиец Франсуа-ле-Мерин.

А в Самарканде, в городском театре, при малороссийской труппе Ванченко, в которой в юные годы подвизался хористом Шалапин, тем временем открылся дамский чемпионат французской борьбы под руководством Сарры Д’Ор!

Меня забирал восторг. Какой буйный полет фантазии, какие интригующие фамилии: Окитори — подобно современным забегаловкам “Якитори”, Омар в бульоне! Мерин! по имени Франсуа! и Сарра Д’Ор! Это же калька с неудовоимой Соньки Золотой Ручки, известной одесской аферистки. Но по полету фантазии, как мне кажется, ничто не могло сравниться с титулом чемпиона всей Африки и бухты Гайдамак!

Можно смеяться над мишурой и блеском цирка той поры, ерничать по поводу импрессарских обманок. Но ведь не только доверчивые простолупидны, как бы сказали сегодня, “тащились” от французской борьбы. У Ирины Одоевцевой в ее мемуарах “На берегу Невы” есть поразившие меня строки. Светочи поэзии серебряного века Осип Манделштам и Георгий Иванов были завсегдатаями цирка. Они завели общую визитную карточку: “Осеоргий Эмирович Манделштамов”. Поклонялись французской борьбе Блок, Куприн, Гиляровский. Что их-то привлекало в буффонадах цирковых богатырей?!

Быюсь об заклад, что не многие знакомы с писателем, которого непременно следует превознести до небес нашему борцовскому клану. По крайней мере, он является единственным литератором, который запечатлел почти документально цирковую борьбу той поры. Позволю себе предоставить фрагмент романа “Похождения факира”, написанного Всеволодом Ивановым.

Повествование ведется от лица юного Всеволода, который обожает канатоходку Антуанетту Сирбо. Место действия — заштатный дореволюционный городишко Павлодар, взбудораженный приездом цирка. Главные действующие лица: герой любовник, профессиональный борец, Роальд Азгарц и супруги Владычкины: она — страстная пани Марина, он — скучный подкаблучный муж, без имени и отчества. Перед началом циркового представления супруги дают званый обед в честь заезжей знаменитости:

— Употребляете водку? — спросил хозяин.

— Да, если она в четверти, — бодро ответил гость.

— “Богатыри — не вы!” — вздохнул Владычкин.

Я принес четверть водки, втайне завидуя силе борца.

Глаза пани Марины были наполнены удивительно теплым блеском, плечи опять обнажены. “Собираются на открытие цирка?” — подумал я.

Владычкин, возле буфета, осторожно капал лекарство в маленькую ложечку, следя напряженно: не перекапать бы. Он отвернулся от гостя, а тем временем Азгарц целовал пани Марину в шею...

Подали огромную миску борща и нарочно сваренную для борца курицу весом ровно в три фунта. Не знаю, то ли борщ, то ли курица, то ли незаконные поцелуи расслабили борца, но только он не выпил и полчетверти, как почувствовал себя расслабленным...

Азгарц, пробуя удержаться за книжный шкаф, опрокинул его, и красивые книги, столь возношавшие меня, вывалились под ноги борца...

Лицо пани Марины говорило о негодовании, о брезгливости, — но и о любви... Владычкин понимал полное свое ничтожество. Изругать и выгнать борца нет сил. И ему совестно перед самим собой, передо мной, — но он любит жену, а главное боится ее. Вот, например, пора бы вернуться в столовую, а вдруг вернешься не вовремя?

Цирк клонился набок, но наклон этот придавал ему некоторую очаровательную стремительность.

Яростно горели дуговые фонари. Павлодарцы с воодушевленными лицами толпились у входа. Подумать только: цирк впервые посетил город! Раньше лишь в ярмарки бывали балаганы, приезжали зверинцы, канатоходцы, а тут — огромный, настоящий цирк!

Оркестр рассаживался в громадной ложе. Медные трубы пылали. Барабаны походили на степные озера во время заката. Капельдинеры, щеголяя бронзово-бурными мундирами, расстилали васильковые ковры. И вот выскочили клоуны. Весь цирк захохотал. Казахи кричали: “Уй-бой! Здорово!”

...Последнее отделение. Капельдинеры очистили арену. Вышел низенький, широкогрудый арбитр и свистящим тенором закричал:

— Музыка, марш! Парад, алле!

Шли борцы, увешанные, как генералы, орденами и медалями. “Эх, как бы да мне, — шептал я, — как бы мне хоть одного орденочка добиться!” Я испарялся в любви и восторге. Над ареной высоко сияла проволока — и дивная Антуанетта Сирбо все еще, казалось мне, размахивала там алым глянцевитым зонтиком.

Я посмотрел на пани Марину.

Посреди арены стоял Роальд Азгарц, розовый, в черном шелковом трико, с бурной мускулатурой. В его голубых глазах еще отражалась четверть выпитой водки, он икал. Но, боже мой, какая любовь светилась в глазах пани Марины! Муж, сидящий рядом, как бы крошился. Как поднималась ее грудь! А я все равно любил и борца, и пани Марину, и даже Владычкина. “Все пройдет, все минует, но цирк останется”, — думал я. Арбитр провозгласил:

— Чемпион Северной Норвегии и всех островов Скандинавии, господин Роальд Азгарц.

Борец вышел вперед и поклонился. Он поклонился особо низко ложе, где сидела пани Марина. Пани Марина закивала головой и захлопала так, что и она и все поняли: зря так не хлопают! Она все простила ему. Простила испорченные книги, испорченный обед, свою испорченную жизнь. “Вот любовь, вот чувство!” — ошпаренно думал я.

Арбитр прислушивался к хлопкам и смотрел внимательно вдоль рядов. Я еще не знал, что арбитр старался догадаться по аплодисментам: кому из борцов предстоит быть любимцем этого города. Хлопали больше всех Роальду Азгарцу. И тогда арбитр начал самозабвенно прибавлять к его заслугам все больше и больше побед.

А пани Марина считала, что самая лучшая победа прекрасного Роальда — это победа над ней.

Я вышел из цирка. Чувства мои были разъединены, как разводят мосты для пропуска судов.

Дула метель. Я шел покачиваясь. Цирк все еще тайно сиял вокруг меня...

Но все же я слегка сопротивлялся и говорил сам себе: “А все-таки балаганы — мишура, вздор!”

Тетка Фелицата приняла на хлеба рыжего капельдинера Сережку Трошкина. Ему было девятнадцать лет. Он гордился своей бронзово-бурой ливреей, чистил ее два раза в день, широко расставляя длинные, тонкие ноги. Он часто повторял, что все в жизни преобразовывается, развивается, что судьба тащит нас правильно. Если имеются борцы — значит, борцы нужны для развития цирка. Он желает промышлять борьбой... Сережка подметил уже много приемов.

— Давай практиковаться?

Я утащил у тетки Фелицаты большую кошму и расстелил ее на чердаке амбара. Мы боролись все свободное время. Перед борьбой мы пожимали крепко руки и выше колен закручивали кальсоны, чтобы они походили на трико. Трошкин свистел и дискантом приказывал: “Музыка, марш!”

По-разному мы снимали нашу жатву с арены цирка. Сережка великолепно воспринимал и воспроизводил все эти “тур-де-бра” и “двойной нельсон”. Я же мог перенять жесты, оттенки голоса, какое-то еле уловимое выражение лица, походку борцов. Я мог подражать только внешней форме, а ловкость и, главное, направленность движения ускользало от меня. Я ощущал чувство разлада. Сережка испытывал удовлетворение: все, что он проделывал сегодня, — нечто более удачное, чем вчерашнее. Эта ловкость ему нравилась, она вызывала в нем приятное расположение. Вытирая полотенцем тело, он добродушно смотрел на мое расстроенное лицо и говорил:

— Подожди, откатится и от тебя мешковатость. Ты и сам не заметишь, как тебя подопрет цирковая панорама. Наблюдай за ней, Всеволод, крепче.

Я веселею, передразниваю арбитра, борцов, их пыхтение, их выцветшее дыхание. Сережа хохочет:

— Торопись, спроваживай навоз из головы. Смелость надо! Головную. Мускулатура? Она растет быстрее, чем смелость. Ух, уж этот цирк! Вот давит, сволочь!

Цирк действительно подавил все. Мы не замечали ярмарки, запаха кож, привезенных из степи, горы кишок, возы с мясом, шерстью, табуны коней и стада, — громадные, не вмещающиеся в город...

Не сердитесь на меня, если этот отрывок показался вам длинноват. Но мне мальчишечьи впечатления Всеволода Иванова, перенесенные им в зрелом возрасте на бумагу, показались примечательными и почти что документальными, подтверждающими все то, о чем говаривал Мазур.

В нашей среде до сих пор не устают судачить — насколько велик был Иван Поддубный? В расцвете сил Иван Максимович, несомненно, был непревзойденным борцом. При всяческих там выкрутасах шутковать с собою не позволял. Оттого, наверно, и остался навечно в пантеоне народных силачей. Но с моей точки зрения беда в том, что его мифический образ заслонил собою другую персону, может быть, более значимую для России, чем он, — Ивана Лукьяновича Солоневича. Могу ошибиться, но даже в нашем “ушастом” мирке немногим ведомо это имя, разве что Юрию Власову да Александру Карелину.

Солоневич родился в 1891 году в Гродно. В предреволюционные годы серьезно увлекся цирковой борьбой, неплохо заявил о себе в профессиональных турнирах. Борьбу он какое-то время совмещал с “думской” журналистикой. В годы гражданской войны Солоневич сражался в рядах белых. Заболев тифом, чудом выкарабкался с того света, неожиданно для себя очутившись в большевистском “раю”. Приспосабливаясь к реалиям жизни, он устроился на работу во Всесоюзное бюро физкультуры, написал пособие по развитию гиревого спорта и тяжелой атлетике, в каком-то смысле заложив основу советского физвоспитания. Одновременно Иван Лукьянович разрабатывал план побега из Совдепии вместе с сыном и братом. Их арестовали. На собственной шкуре они испытали все прелести подневольного труда на строительстве Беломорско-Балтийского канала. Их третья попытка оказалась успешной. Избегая засады, таясь от погони, утопая в болотной трясины, изможденные и оборванные, они добирались до Финляндии. Потом была Болгария, издание книги “Россия в концлагере”, предтечи романа “Архипелаг ГУЛАГ” Александра Солженицына. Помещение, в котором размещалось детище Ивана Лукьяновича, редакция газеты “Голос России”, агенты НКВД взорвали. Жена Солоневича погибла. Скрываясь от преследования, он перебрался подальше от руки Москвы, в Латинскую Америку. Солоневич ушел из жизни в Буэнос-Айресе в 1953 году. Все голливудские блокбастеры со своими стрелялками и догонялками выглядят на фоне его судьбы жалким убожеством. Но велик Иван Лукьянович отнюдь не своими приключениями. Солоневич в пух и прах разнес пустопорожние теории всяких там Ключевских, Керенских, Милкоковых, Розенбергов и многих их современных последователей. В своих книгах он развенчал мифы о беспробудном пьянстве русского мужика, его лени, безалаберности. Солоневич убедительно доказал, что доподлинную Россию ни наши историки, ни заезжие астольтфы де кюстины знать не знали и знать не могли, а судили о ней по Хлестаковым, Обломовым и Маниловым:

“Грибоедов писал свое “Горе от ума” сейчас же после 1812 года. Миру и России он показал полковника Скалозуба, который “слова умного не выговорил сроду” — других типов из русской армии Грибоедов не нашел. А ведь он был почти современником Суворовых, Румянцевых и Потемкиных и совсем уж современником Кутузовых, Раевских и Ермоловых. Но со всех театральных подмостков России скалит свои зубы грибоедовский полковник — “золотой мешок и метит в генералы”. А где же русская армия? Что — Скалозубы ликвидировали Наполеона и завоевали Кавказ? Или чеховские “лишние люди” строили Великий Сибирский путь? Или горьковские босяки — русскую промышленность? Или толстовский Каратаев крестьянскую кооперацию? Или, наконец, “мягкотелая” и “безвольная” русская интеллигенция — русскую социалистическую революцию?”

Ивану Лукьяновичу оказались ведомы тайные механизмы мира сего. И постичь их, как бы странно это ни прозвучало, помогло цирковое зазеркалье:

“...Голосовать “за” или “против”, продуцировать овации или скандал, хлопать в ладошки или топтать ногами: всё это заранее устанавливается за кулисами, совершенно так же, как результаты всякой профессиональной цирковой борьбы заранее устанавливаются “арбитром”. И только галёрка, — цирковая или политическая, — может думать, что двойной нельсон, который на трибуне парламента П. Н. Милоков заложил А. Ф. Керенскому — или наоборот, — имеет какое-то политическое значение: не имеет никакого. Ни для кого, кроме галёрки. Галёрка эта, правда, велика и обильна и, по видимому, неисцелима.

Я, может быть, несколько злоупотребляю сравнениями цирка и парламента. Но это происходит потому, что в советское время я промышлял цирковой борьбой — и если бы это не было так противно — вероятно, преуспел бы в этой области зрелищного искусства. Я также довольно долго в качестве журналиста околачивался в кулуарах и прочих местах предсоветской Государственной Думы. В цирке мне И. М. Поддубный приказывал: “Значит, вы положите Джапаридзе на тридцатой минуте с моста”. Или: “Значит, Джапаридзе положит вас на семнадцатой минуте суплесом”. Это было противно, но есть было нечего. Какая нелёгкая понесла бы меня в Государственную Думу, где в кулуарах А. Ф. Керенский ловил тощих соратников своих и приказывал: “Значит, вы, Иван Иванович, голосуете против законопроекта. — Какого? — Ну вот, что сейчас ставится на рассмотрение пленума. — Слушаю, Александр Фёдорович”. Цирк всё-таки приличнее”. Кстати, любопытная деталь. Когда в середине семидесятых годов прошлого века журналист спросил Керенского, что бы он прежде всего предпринял, если бы власть вновь оказалась в его руках, его ответ оказался парадоксальным: “Я первым же указом приговорил бы Керенского к расстрелу”.

Фундаментальный труд Солоневича “Народная монархия” по праву считается чуть ли не единственным системным изложением Русского пути. Эту книгу недруги России стараются замолчать и по сию пору, потому что она дает четкие ответы на две ключевых для России проблемы: как случилось с нами, то, что случилось, и что надо делать, чтобы ничего подобного не повторилось впредь!

Всякого рода упыри страшатся его правды и по сию пору. Поэтому даже сегодня, даже на родине, Солоневич — фигура умолчания. Однако Сталин, вчитываясь в его аналитику, порою круто менял свой курс.

Каждый волен в своих предпочтениях. На одном полюсе немеркнущая слава Поддубного, на другом — преданный забвению прозорливец. Но и тот, и другой — нашего, борцовского, роду-племени.

(Окончание следует)